

Азад
Авликулов

ПОБРАТИМ

ПОВЕСТЬ

I

Местность, открывшаяся утром взору гвардии старшины Александра Попова, поражала унылостью. Правда, и казахстанские степи, через которые поезд тащился двое с лишним суток, были не ахти какими райскими, но там хоть радовала зелень высоких трав, а тут... До самого горизонта простирались барханы, похожие на застывшие волны штормового моря. На спинах ближних из них торчали редкие черные, будто обугленные, кусты янтাকা — верблюжьей колючки, как ему объяснил проводник. Кусты эти были низкорослыми, янтак рос и на дальних барханах, но расстояние скрадывало их, и потому те барханы походили на рыжие, абсолютно лысые валуны.

Телеграфные столбы, бегущие за окном, выгорели до бела, казалось, ткни в них пальцем — развалятся от ветхости. Провода провисли, точно к ним подвешен незримый груз. Иногда вдаль искрами на мгновение вспыхивали островки. Невыносимой, во всяком случае для Попова, казалась жаря. Небо ослепительно яркое, как плавленный металл, и на него невозможно смотреть не прищурившись. Двери и окна вагона распахнуты настежь, по всем купе и коридору гуляет сквозняк, но он и сам горячий, словно врывается сюда из чрева раскаленной домны. И чем дальше на юг продвигается поезд, тем сильнее печет.

«Далеко ж ты живешь, брат, — мысленно сказал старшина Якубову, выбросив окурок в окно, — пятнадцать

суток на колесах, а конца все не видеть!» Ему казалось, что колея железной дороги, взяв начало в немецком городке, где он лечился в госпитале, нескончаемая, как если бы это был стальной пояс вокруг экватора.

— Ну, старшина,— сказал проводник, подавая ему бог знает уже какую пиалу чая,— часа через два будете дома. Так что можно и укладывать чемоданы. Всякая дорога тем и хороша, что приходит к концу,— глубокомысленно добавил он.

— В этом вы правы,— согласился Попов, поблагодарив за чай...

Напоминание проводника взволновало его, оно снова заставило Попова вспомнить прошлое, события, вследствие которых он и поехал в далекую Сурхандарью. Всю дорогу старшина старался не вспоминать прошлого и на расспросы спутников, таких же, как сам, демобилизованных солдат, отвечал словами начальника госпиталя:

— Легкие ваши пока слабы, старшина. Постарайтесь быстрее добраться до своих теплых краев. Месяц-другой подышите сухим воздухом, домашние харчи да фрукты, которых, говорят, там у вас до черта, вернут вам здоровье полностью. ●

Военврач как в воду глядел. Когда эшелон пошел по Средней Азии, старшина стал дышать полной грудью, а в теперешнем пекле перестал ощущать то, что в Германии, да и в Белоруссии еще, где воздух был влажным, тяжелым, задерживающимся в легких как что-то вязкое.

В армии индивидуальные особенности человека не стираются даже перед главным — службой.

Тулкун Якубов, парень из кишлака Баландсай, что раскинулся на высоком левом берегу Сурхана, и москвич Александр Попов попали в десантный батальон, что на-

чал формироваться на второй месяц войны в городишке, затерявшемся в лесу. Оба они были крепкими парнями.

Все, что требовали от Якубова командиры, он делал четко и в срок, но вот незнание русского языка здорово мешало ему. Правда, команды он запомнил, но не все, произносил с горем пополам слова, без которых вообще невозможна солдатская служба. Вот это однажды и привело к курьезу.

Была поздняя осень, враг рвался к Москве. Тулкуна назначили в караул. И вот стоит он ночью у дверей штаба, холодный дождь моросит, темно, хоть глаз выколи. Услышал шорох раздвигающихся веток, направил в ту сторону карабин и крикнул:

— Стой, кто идет?

— Капитан Григорьев, — ответили из темноты.

Якубов по голосу узнал капитана, но растерялся и, забыв спросить пароль, почему-то крикнул:

— Ложись, стрелять буду!

— Да ты что, очумел, Якубов!? — вспыхнул капитан и сделал шаг вперед. Услышав, как щелкнул затвор, вынужден был повиноваться.

Так и пролежал под дождем с полчаса, да еще и в луже, пока не пришла смена. Тулкуна посадили бы на гауптвахту, да пощадили, услышав, что он «ничего не должен пускать в штаб». Якубов тяжело переживал свою оплошность, перестал появляться в курилке, куда ходил, чтобы быстрее освоить русскую речь. Как выпадало свободное время, ложился на нары и молчал, глядя в потолок. Попытался было он раза два сходить в ленкомнату, там не упустили случая позубоскалить, требовали, чтобы он своими словами рассказал, как заставил капитана вымокнуть до нитки.

Попов, сначала тоже поддавшийся общему настроению, пожалуй, скорее других почувствовал то, что происходит в душе боевого товарища, и первым пришел к

нему на помощь. Как-то вечером он подошел к нему и запросто предложил:

— Давай, Якубов, письмо тебе напишу.

Писать Тулкун не мог, а расписывался пальцем, предвзвительно натерев его химическим карандашом. Он обрадовался и, благодарно взглянув на Попова, кивнул головой. До ужина и потом, после него, они сидели в дальнем углу казармы и написали, по мнению Якубова, очень длинное письмо:

«Ассалам алейкум, дорогие мои онаджан и вы, любимая женушка Абад. Низкий вам поклон, дядя Миршариф, и вам, тетя Бибихол. Кланяюсь вам всем, кто помнит меня в Баландсае. Красноармеец Тулкун Якубов, слава аллаху, здоров, чего и вам горячо желает. Сообщаю, что пока он не видел проклятого фашиста, но если встретится с ним, клянется честью дехканина, не пощадит его, убьет, как бешеную собаку. Онаджан, как ваше здоровье, как вы живете? Любимая моя женушка Абад, помогайте матери, ведь она, сами знаете, слабенькая. А меня прошу вас, ждите, я обязательно вернусь с победой. Миршариф-тога, и к вам у меня просьба: пожалуйста, не оставляйте монх в беде, приеду домой, обязательно отплачу за вашу доброту. Обо мне не беспокойтесь, родные мои, я служу хорошо. У меня появился друг Саша, теперь все мои письма будет писать только он. Передаю всем вам красноармейский привет от него. Ваш Тулкун Якубов, сын, племянник и муж...»

Когда письмо было свернуто в треугольник и надписан адрес, Тулкун спрятал его и спросил:

— Ислушь, Сашавой, пачему твой памилла такой, а, Папон? Твой папошка мулла был, да?

Вопрос Якубова был наивным, и Саша рассмеялся.

— Я пилохо слов сказал?— спросил тот с тревогой. Он считал, что и в русском языке, как и в его родном, наверняка есть слова, где всего лишь одна измененная

буква может придать им другой смысл и даже оказаться оскорбительным.

— Отца у меня нет,— ответил Попов,— я не знаю, кто моя мать. Когда был шестимесячным, милиционеры нашли меня на улице Попова, вот и дали его фамилию.

— Об-бо-о-о!— воскликнул Якубов с удивлением.— А кто твой кушал давал?

— Государство. Сначала детдом, потом ремесленное училище, а потом сам стал зарабатывать. А Попов,— объяснил Саша,— ученый, радио изобрел. Ладно, расскажи-ка о себе. Отца нет, что ли?

— Кулак стрелял делал,— ответил Якубов,— патаму что калхоз пашел. Мамошка, брат есть. Миршариф-тога.

— Давно женат-то?

— Четир месяц.

— Значит, и детей пока нет?

— Будет. Син. Фарход.

— Фарход? По-моему, у вас такой герой был?— спросил Попов.

— Бил грой, Сашавой. Адин сам он ба-а-алшой арык капал, делал для девичка Ширин.

— Ясно. Ну, что ж, пусть тебе жена все же Фархода подарит!

— Испасипа!..

...К утру шестого ноября пошел снег. Он был густым и крупным, большие хлопья, подхваченные ветром, вихрились и ложились огромными сугробами. Было холодно и оттого неуютно как-то на душе.

Батальон уже вторые сутки жил напряженно. Проверялись рации, не знали покоя интенданты, а командиры осматривали оружие и другое боевое снаряжение бойцов с такой тщательностью, словно тем завтра предстояло пройти по Красной площади. После того, как

командир взвода, довольный работой бойцов, объявил перекур, Попов и Якубов устроились у печи. Саша закурил.

— Вайна пашол делим, да?— тихо спросил Якубов.

— Наверно,— нехотя ответил Попов. В другое время он, конечно, объяснил бы товарищу, как правильно построить свой вопрос, заставил бы несколько раз повторить эту фразу, но сейчас усталость брала свое, ни говорить, ни двигаться не хотелось. Однако он знал, что Якубов вступает в разговор именно тогда, когда они остаются наедине, в другое время больше молчит.

— Очень пиравилна,— сказал Якубов,— ми кираснаармис, ваевал нада, пошнист убивал нада?

— Не волнуйся,— сказал Попов,— этих гадов на нас еще хватит!

К печке стали подходить десантники, и разговор, к неудовольствию Якубова, оборвался. Сразу же после ужина объявили отбой, чтобы бойцы выпалились. А ровно в полночь прозвучала боевая тревога. Вьюжило еще сильнее, казалось, небо вместо снега швыряет в лица людей ледяные иголки. Каждый взвод занял самолет, в котором уже было уложено снаряжение, сухой паек и рация. Часа через два после взлета над дверью пилотской кабины вспыхнула лампочка — пора! Рация, сухари, тушенка, гранаты и патроны — все полетело вниз, в белую мглу, сквозь которую не только сигнальные огни, если они там были, но и сама земля не проглядывалась. Что ждало бойцов там, никто не знал. Об этом думал каждый, кто выпрыгнул в люк, и, вместе с тем, каждый надеялся, что, опускаясь в неизвестность, он останется целым и выполнит задание, верил, что земля встретит его дружески, как своего сына, укроет от непогоды и согреет теплом.

Приземлились благополучно вдали от деревень, быстро собрались и двинулись в путь, теперь уже на восток. Шли до утра и все время лесом, который казал-

ся бесконечным, как океан. Шли из последних сил, потому что были нагружены под завязку, но старший лейтенант Сербин, командир взвода, кажется, не замечал этого, изредка, осветив под шинелью карту, снова пускался в путь. «Чего он в такой темени видит,— думал Попов с досадой,— кругом черный лес и ни одного ориентира!» И вот когда группа, казалось, потеряла всякую надежду на отдых, тот подал команду:

— Все, ребята, шабаш!

И сам первым упал на снег, как подрубленное дерево. Бойцы, помогая друг другу снять с плеч груз, тоже повалились в снег, который все шел, он и здесь был таким же густым, как вчера утром в расположении батальона. Как-то незаметно наступило утро. Сербин собрал взвод под огромной сосной и, вытащив из кармана сухарь, начал хрустеть им, молча, будто и не было трудного перехода. Глядя на него, принялись за сухари и остальные.

— Устали, братцы?— спросил он, улыбнувшись.

— Что вы, товарищ старший лейтенант,— ответили солдаты,— если надо, мы можем продолжить.— Но в душе каждый знал, что ни одного шага, хоть убей, не сделает.

— Я ведь и сам выдохся, как заяц, за которым стая борзых мчалась,— признался он.— Но идти надо, чтобы снег до утра засыпал следы.

— А где мы, товарищ старший лейтенант?— спросил ефрейтор Хорьков.

Глядя на этого бойца, Попов однажды подумал, что иногда природа выкидывает удивительные штуки — подберет кому-нибудь фамилию, и она точно соответствует его внешнему, а порой и внутреннему облику. Лицо ефрейтора напоминало хорька, кажется, сунь ему палец в рот, откусит свонми мелкими и острыми зубами.

— В калининских лесах,— ответил командир.— Отсюда, если идти на северо-восток, за ночь будем на месте.

— Ясно,— тонким голоском произнес Хорьков, хотя по выражению его лица было видно, что объяснение старшего лейтенанта осталось для него туманом.

— Зачем твой знай, где мы,— воскликнул Якубов. Возмущенные ефрейтором было таким сильным, что он не сдержался, забыл, что плохо знает русский язык,— ты спроси делай, када пошнста убивал делим!

— Вот именно,— поддержал его Саша.

— Я тоже так считаю,— сказал лейтенант Казаков, политрук.

— Скоро,— ответил Сербин,— если ничего непредвиденного не случится, послезавтра ночью и приступим...

Деревня, которая в тот раз была местом неудачного боя для Попова, находилась где-то на стыке Московской и Калининской областей. Небольшая, на берегу замерзшей речушки, она казалась мирной, из труб валлил сизый дымок, вроде даже поросята во дворах кричали. С опушки леса, примерно в километре от нее, десантники вели долгое наблюдение и пришли к выводу, что гарнизон там небольшой, и с наступлением темноты решили разгромить ее. К ночи сюда подошла потрепанная, но довольно многочисленная часть с передовой. Силы оказались неравными. И хотя инициатива боя в первые минуты оказалась в руках десантников, гитлеровцы оправились и начали теснить их.

— Разбиться на группы,— приказал Сербин,— и пробиваться к болоту, туда они не сунутся!

Видя, что перестрелка возникла на разных участках, фашисты перестали преследовать, полагая, что партизаны решили заманить их в ловушку. У самой кромки леса упал, сраженный пулей, Хорьков. И в трех шагах от него, словно бы кто-то сильно толкнул в плечо, рух-

нул и Попов. «Ранен», — подумал он и пощупал плечо, оно было мокрым. Саша крикнул Якубову:

— Уходи, я задержу их!

Но сил, чтобы повернуться лицом к противнику, у него уже не было, каждая попытка отдавалась такой сильной болью, что он едва не терял сознание. А это, пожалуй, самое страшное на войне — держать в руках оружие и быть беспомощным. Он видел сосну и решил во что бы то ни стало добраться до нее. Кое-как перевернулся на спину и, отталкиваясь ногами, двинулся к ней. Давалось это трудно, казалось, что это расстояние он преодолевал целую вечность. Он достиг дерева, и, когда оперся о его ствол спиной, изготовив автомат к стрельбе, вдруг наступила непривычная тишина, такая, когда слышишь стук собственного сердца. Силы покидали Попова.

Случилось, как позже узнал Саша, вот что. В тот момент, когда он упал, преследователей тоже осталось двое. Якубов видел фашиста, выстрелившего в друга, и сразил его очередь. В то же мгновение по пню, за которым он лежал, полоснули пули второго фрица. Якубов решил перехитрить его, вскрикнул и, раскинув руки, вывалился из-за пня, но автомат не выпускал. Гитлеровец, видно, тоже устал, он сутуло повернулся и, неся автомат на весу, как дамскую сумочку, поплелся обратно. В деревне горели дома, и потому тень врага была длинной. Якубов выпустил в него очередь. Фашист даже не повернулся назад, только шаги его стали неуверенными, и он упал лицом вниз. Тулкун поспешил к другу. Тот тяжело дышал, казалось, ему не хватает воздуха. Он расстегнул ворот гимнастерки Попова и перевязал рану двумя — своим и его — индивидуальными пакетами. Бросился к Хорькову, но тот уже был мертв.

Якубов взвалил Попова на спину и двинулся к болоту. Было удивительно тихо, он слышал, как скрипел

снег под его ногами, как от крепчавшего мороза глухо стонали сосны. Ночь была ясная, звезды в небе напоминали льдинки, отражавшие свет очень яркого голубого светильника. Это он заметил, когда сделал первую остановку в пути. Потом уже некогда было любоваться красотами природы, потому что чем дальше он шел, тем глубже, кажется, становился снег и тяжелее ноша. Он шел упрямо, как человек, оставшийся без воды в пустыне, но знающий, что до колодца совсем недалеко. Как он преодолел последние полкилометра, как пробирался по кочкам до островка, который еще днем наметил командир, Якубов не помнил. Когда бойцы освободили его от ноши, он упал в снег и долго лежал неподвижно, как рыба на песке, широко раскрыв рот и глотая ледяной воздух.

— Ранен, Якубов?— спросил, нагнувшись, лейтенант Казаков.

— Устал.

— Отдыхай.— Он обратился к радисту:— Как там Попов?

— Крови много потерял. Сейчас дам ему спиртика, очнется.

— Хорошо,— сказал лейтенант. И спросил:— Сколько же нас осталось?— И сам себе ответил вслух:— Пятнадцать человек и двое раненых. Гришин, включи рацию.

Якубов отдышался и, встав, наломал сосновых веток, настелил, чтобы положить на них раненых.

— Где мы, Тулкун?— спросил Попов, очнувшись.

— На месте.— У него оставалось немного шоколада, и он положил его в рот друга:— Кушал делай!— Потом спросил:— Болит, да?

— Еще повоюем, брат.

А лейтенант тем временем передал, что командование взял на себя, потому что Сербин погиб. Отдохнув и подкрепившись, десантники сделали носилки и, поло-

жив на них раненых, двинулись на восток. К утру вышли к небольшой полянке. Остановились. Перед рассветом прилетел фанерный кукурузник, он привез питание для рации, боеприпасы и забрал раненых. Попов был слаб, но сознание уже не терял, а второй — сержант Дьяконов был тяжел, и все в группе опасались, что он долго не протянет. Однако тот дышал, и сердце его продолжало стучать.

— До встречи в батальоне,— тихо сказал Попов, прощаясь с Якубовым.

— Ладно, дустым. Ижди там меня.— Якубов был уверен, что Саша обязательно вернется в батальон.— На кшлок пиши делай, Сашабек, моя здроза, ваевал делим, пошист убиваем!

— Напишу,— пообещал Попов,— а ты побереги себя здесь, ведь дома поди сын родился, Фарход. Ты ему нужен будешь, понял?

— Ага...

Встретились они после того дня через три месяца. Ровно столько пролежал в госпитале Попов, а Якубов, оказывается, уже через неделю был в части. Вместе со всей группой...

...Война, как сказал Лев Толстой, это работа. Тяжелая, изнурительная, жестокая, беспощадная, но работа. Меняется обстановка, время и место действия, но сущность остается неизменной — убивать. Если не ты, то — тебя. Весь сорок второй и начало сорок третьего десантники выполняли свою работу на разных участках фронтов. Были на Кавказе и в донских степях, в болотах Полесья и еще во многих других местах. И все это время Попов, который вернулся из госпиталя через три с половиной месяца, и Якубов, шагавший, как заговоренный, без царапинки, не разлучались. За бой на Кавказе оба получили по медали «За отвагу». К началу сорок третьего Попов уже был сержантом, а Якубов — младшим сержантом.

Когда батальон выполнил задание в тылу войск Паулюса, которых уже окружили и начали уничтожать, десантников отвели на отдых. Разместили их в землянках на крутом берегу Волги, там, где прежде жили зенитчики. Землянки текли, в них было сыро. Днем Попов где-то раздобыл буржуйку, растопил ее, и в той землянке, где он и Якубов расположились, стало относительно суше и теплее.

Как-то после ужина Тулкун сел у печки и начал молча подкладывать дрова. Саша подсел к нему.

— О чем задумался, добрый молодец?— спросил он, положив на плечо друга руку.

— Саша,— сказал Якубов тихо, чтобы не разбудить спящих солдат, он уже сносно говорил по-русски,— мы уже с тобой воюем немало, верно?

— И еще будем воевать,— ответил Саша,— пока до самого подлюги Гитлера не доберемся. Посадим его в клетку, как медведя, и будем показывать всему миру, мол, посмотрите на этого зверя!

— Ага. У узбеков есть такой закон,— сказал Тулкун,— э... нет, порядок, э... тоже не то...

— Может, обычай?— спросил Попов.

— Да. Я и ты будем братьями, ладно?

— Побратимами станем?

— Ага.

— Согласен.

— Если я погибну, ты станешь Якубовым, если ты — я буду Поповым, хоп?

— А это разве обязательно, менять фамилию?— спросил Попов.— Побратаемся, чтобы жить обоим, чтобы наши фамилии продолжались до окончания жизни вообще!

— Такого обычая у узбеков нет,— сказал Тулкун.— Надо, чтобы фамилия погибшего жила, продолжалась на земле.

Попов попытался было уговорить его, чтобы не ста-

вил такого, на его взгляд, дикого условия, но друг стоял на своем. И Попов махнул рукой:

— Пусть будет по-твоему!

— Спасибо, брат!— Якубов вытащил из ножен финку, надрезал палец и смочил кровью ее лезвие. Поднес ко рту Попова и попросил приложиться к ней губами.— Теперь ты!

Так они поклялись в том, что отныне стали братьями, родными братьями. Тулкун не знал, точно ли он исполнил обряд братания, никогда такого в своем кишлаке не видел, хотя много слышал, что такой обычай существует в народе. Но ему очень хотелось, чтобы у друга была мать, невестка и племянник.

— После войны,— сказал он,— поедем ко мне в Баландсай, женю на самой красивой девушке, а дом построю новый, рядом со своим, во дворе места хватит.

— Доброе сердце у тебя, брат,— тихо и вместе с тем проникновенно произнес Саша.— Теперь и я не одинок, и за это тебе спасибо...

— —

...А поезд стучал и стучал колесами, пустыня сменилась просто степью, вдали, как осколок громадного зеркала, лежала Амударья, мимо проплывали глинобитные кишлаки с пыльными улицами, сады и зеленые поля, поросшие невысокими кустами, похожими на картофель. Меж ними серебром струилась вода. По полям, закинув на плечи кетмени, ходили поливальщики.

— Что это за деревья вокруг полей стоят?— спросил он у проводника.

— Шелковицы или тутовник, как их здесь называют.

— Лучше бы яблони посадили,— сказал Попов.

— Нет, товарищ гвардии старшина. Листьями этого

дерева откармливают червей — шелкопрядов, которые давали шелк для ваших парашютов. Всю войну давали. А теперь девушек в атласы будут наряжать! Следующая остановка ваша, поезд стоит минуту,— предупредил он...

На перроне никого не было, и Попов, укрывшись в тени здания вокзала, решил подождать, пока появится кто и укажет дорогу в кишлак. Поблизости и вдали виднелись селения, окутанные зеленью, к ним от разъезда уходили пыльные проселки, и любой из них мог быть тем, что приведет в кишлак. Но, когда не знаешь, какой именно тебе нужен, лучше не спешить, тем более в такую жару.

Он присел на чемодан и закурил. С хлопковых полей, что раскинулись рядом, веяло свежестью. Он расстегнул пуговицы гимнастерки, и приятный холодок взбодрил его. Теперь можно было приглядеться к местам, куда его занесла судьба. Перед ним лежала широкая долина, зеленая, которая ближе к возвышавшимся вдали горам приобретала синеватый оттенок. Сами горы серо-зеленые, их ломаная стена окаймляет долину слева, некоторые участки напоминают зубчатку крепостных стен, на самых дальних вершинах, словно заплата, лежит снег. Справа вздымались округлые, абсолютно лысые холмы, и от одного их вида, кажется, становилось жарче. Между теми холмами и полустанком, поросшая густым камышом, угадывалась река.

— Здравствуйте, товарищ старшина!— услышал Попов и обернулся. Прислонившись к стене, стоял средних лет мужчина в форме железнодорожника.

— Здравствуйте,— Саша привстал с чемодана и застегнул пуговицы.

— Издалека?

— Отсюда не видать,— шутливо ответил Саша.

— Ясно, а далеко, если не секрет?

— В Баландсай.

— Однако далековато, брат.

— Ничего, Берлин был дальше, а дошли!

— Еще как дошли!— воскликнул железнодорожник и добавил:— Теперь этот кишлак называется Мингтерак. Вы гляньте на него,— предложил он, указав рукой на ту сторону реки.

Сколько старшина ни вглядывался туда, ничего похожего на селение не заметил. Пожал плечами.

— Темная полоска на горбе одного холма,— показалось, с досадой произнес тот.

— Вижу,— сказал старшина и прикинул в уме, что до него, пожалуй, километров двадцать придется топтать.— Точно, далековато.— Спросил:— Почему переименовали, ведь Баландсай звучнее?

— Чувствуется, что вы не знакомы с местными традициями,— объяснил железнодорожник.— По одной из них, каждый отец в тот день, когда в доме рождается сын, только сын, подчеркиваю, обязан был высадить в своем дворе по двадцать тополей, чтобы они, к тому времени, когда потомок подрастет и приведет в дом невесту, послужили для его нового дома строевым лесом. Сотни парней, в честь которых были выращены деревья, не вернулись с войны, и теперь те тополя стали им вечными памятниками. Мингтерак в переводе Тысяча тополей.

— Спасибо,— поблагодарил старшина.— Если вы мне еще и дорогу туда укажете, то буду очень признателен вам.

— А вот она,— произнес тот, показав на тропинку, которая начиналась сразу же за полотном дороги,— идите, никуда не сворачивая. Когда окажетесь на том берегу, спросите еще у кого-нибудь. Говорят, язык до Киева доведет.

— Да,— Попов закинул за плечи вещмешок и двинулся в путь...

Халима-хола, мать Тулкуна, очень обрадовалась, узнав, что у сына есть друг, который отныне будет писать его письма. И в каждом ответном письме она обязательно интересовалась здоровьем Саши, сообщала, что день и ночь молит аллаха, чтобы он сохранил жизнь этому доброму человеку. Когда Тулкун написал, что он и Саша стали родными братьями и поклялись в том на крови друг друга, радость хола была беспредельной. Письма с фронта, как обычно, ей читал колхозный бухгалтер Рашид-тога, единственный человек в кишлаке, кто был знаком с русским языком. И то потому, что был татаринном и часто бывал в районе.

— С тебя суюнчи полагается, Халима,— сказал он, прочитав сначала про себя то письмо.

— Тулкунджану отпуск дали?!— радостно произнесла она. Хола знала, что в кишлак уже приезжали фронтовики, заслужившие это боевыми делами, на неделю, иногда на две. И ей очень хотелось, чтобы Тулкуну тоже дали такой отпуск, ведь он хорошо воюет.

— Нет, сестра,— ответил бухгалтер.— Ты же знаешь, какая у него служба. Самая нужная на фронте!

— Да, знаю, тога,— сникла хола.

— Саша и твой сын побратались, стали родными братьями,— сказал тога.— Живы-здоровы. Теперь у тебя два сына, Халима!

Услышав это, она схватила письмо и побежала домой, сообщая по пути односельчанам о приятной новости. Вместе с братом своим она решила скромно отметить это событие. Пригласила председателя колхоза и бухгалтера. В первую же пятницу хола и ее брат поехали на базар и на все ее сбережения купили ягненка.

— Пока вернутся мои сыновья,— сказала хола,— ягненок подрастет. Как только они оба войдут в калит-

ку, мы заколем его. Такой той закачу в честь приезда своих сыновей!— Спросила у снохи:— Довольна ты своим мужем, келин?

— Голова неба коснулась от радости, онаджан,— ответила Абад...

...В кишлак старшина пришел вечером, когда в небе уже начали вспыхивать большие яркие звезды. На улицах было пусто, и Попов остановился, чтобы передохнуть и спросить кого-нибудь, где живут Якубовы. Из-за дувалов слышались приглушенные голоса, где-то гремели ведра. Где-то кололи дрова — топор со звоном вгрызался в дерево, сучковатое, по мнению старшины. Он прошел по главной улице, и тут подвернулся мальчишка, который и показал ему нужный дом. Попов постучался.

— Вай улай,— негромко воскликнула Абад, приоткрыв калитку и увидев незнакомого, запыленного и, судя по виду, уставшего мужчину. Она невольно прикрыла калитку и крикнула чуть громче:— Онаджан, а, онаджан!

— Ты чего, доченька?— спросила хола из глубины двора.

— К нам пришел солдат.

— Приглашай, коли пришел. Нет у нас жирного плова, есть у нас доброе слово, келин. Зови его!

Абад прикрыла половину лица платком и дернула калитку к себе:

— Входите, ака!

— Саша-ака,— назвал себя старшина.— Здравствуйте, Абад!

— Вай,— воскликнула громко молодая женщина.— Саша-ака приехали, Саша-ака!— Она обхватила шею Попова и крепко поцеловала в щеку.— Хуш келибсиз, Саша-ака!

— Сашаджан, Сашаджан, ягненок мой!— Халимахола, услышав его имя, бросила доить корову и помчалась к нему. Обняла, припала к его груди. И заплакала. Затем поцеловала его в лоб.— Хуш келибсииз, Саша, сынок!— Хола повернулась к супе, на которой сидел Фарход.— Фарходджан, внучек мой, беги скорее сюда, твой дядя приехал, брат твоего папы, Сашаджан приехал. Ну, иди, глупенький, чего ты боишься, иди, ведь этой твой родной дядя!— Объяснила старшине:— Мужчин-то в доме не было, вот и не привык. Ничего, Сашаджан, через день тебе от него отбоя не будет. Мальчишки они такие. Ой, да что же это я,— спокватилась она,— идем на супу, поди, устал?!— Сказала снохе:— Ты чего стоишь, келин, стели для моего сына шелковую курпачу, носи подушки да ставь чай. Сходи еще к Миршарифу, пусть придет, разделит радость. О аллах, спасибо тебе, тысячу раз спасибо! Вернул в родной дом моего сына, будь милосердным, дай и второго, пусть они живут на земле, как два чинара!..

Усадив гостя, женщины захопотали на кухне. Фарход тоже ушел с ними, но вскоре вернулся, остановился в нескольких шагах от супы. Был он чумазым, босым, пестрая рубашонка едва прикрывала пупок. Лицо круглое, а глазенки, как угольки, в них любопытство и испуг одновременно.

— Ну, Фарход, иди ко мне,— позвал его старшина.

Мальчик не сдвинулся с места, хотя переступил с ноги на ногу.

— Ну, иди, малыш, я же тебе звездочку привез.— Он вытащил из кармана гимнастерки красноармейскую звездочку и протянул ему.

Мальчик с трудом преодолел испуг, подошел к нему и, схватив звездочку, занял прежнее место.

— Что же мне сделать для тебя, а?— скорее сам себя, нежели Фархода, спросил Попов и, подумав, начал снимать с груди фронтные награды. Показал их ма-

лышу и поманил его пальцем. Фарход немного осмелел и, наконец, подошел к нему. Саша посадил его на колени и начал цеплять к залатанной рубашонке ордена и медали. Потом нахлобучил на его голову фуражку, поставил перед собой.— Теперь совсем другое дело, брат. Настоящий герой!

Фарход спрыгнул с супы и, придерживая рукой фуражку, которая то и дело сползала ему на лицо, побежал к матери и бабушке. Вернулся вместе с ними, сияющий от счастья. Халима-хола принесла тощий дастархан, а Абад следом — чайник и две пиалы на подносе. Хола расстелила перед гостем дастархан, на нем было несколько кусочков черной лепешки и больше ничего.

«Убого», — подумал Саша, глянув на дастархан. Он развязал вещмешок и вытащил из него три отреза шелка. Их ему принесли ребята из батальона, когда пришли попрощаться. Сказали, что взяли у сбежавшего буржуя.

— Это вам, оладжан.— Он протянул Халиме-хола серый отрез.— А этот, оранжевый, вам, Абад.— Он положил второй отрез перед ней.— Этот — малышу.— Саша положил перед мальчиком зеленый отрез. Вытащил новую гимнастерку:— Для Миршарифа-тога.— Потом он вытащил три булки серого солдатского хлеба, большой круг колбасы. Рафинад, что был в мешочке, он высыпал перед племянником и произнес:— Специально для тебя!

Не успела хола разлить чай в пиалы, как из соседнего двора пришел ее брат, невысокий, смуглый, с обвислыми усами. На голове серая чалма, одет в выгоревшую гимнастерку. Саша поздоровался с ним стоя.

— Только сейчас освободился, Халима,— сказал тога, присев на краешек курпачи. Спросил у Попова:— Здоров ли ты, племянник?

— Спасибо, тога...

Хозяева смотрели на хлеб в центре дастархана, но никто не осмеливался дотронуться до него. Больше всех хотелось хлеба Фарходу, но и он, глядя на взрослых, сидел неподвижно, казался даже равнодушным к сахару, но и не сводя с белых кристалликов рафинада своих черных глазенок. Саша незаметно обвел всех взглядом и громко произнес:

— Что вы, онаджан, хлеб не режете?.. Впрочем, давайте-ка мне одну булку...— Он нарезал хлеб равными, как в армии, ломтями и два положил перед мальчиком:— Ешь, брат, а завтра... Будет день, будет пища, как у нас говорят...

Старшина понимал, что больше всего их интересует сейчас судьба родного человека — Тулкуна Якубова и если они не спрашивали пока о нем, то только из чувства традиционного такта — в узбекских семьях не принято докучать гостю вопросами. Кстати, с приходом тога женщины перестали принимать участие в разговоре. Хола была занята чаем, а Абад сидела в сторонке, прикрыв лицо платком. Она была, как успел заметить Саша, светлее своей свекрови, черные волосы вились из-под косынки, брови широкие, сросшиеся на переносице. Нос прямой, губы пухлые, а подбородок двойной, с прорезью. Фарход был ее точной копией. Хола была моложе тога на пять лет, но выглядела старше, глубокие морщины пролегли на ее худеньком личике, а руки были жилистыми, как у мужчины. И большими. «Досталось ей, видно», — подумал Саша.

Пока пили чай, Фарход, сидевший возле матери, перебрался на колени Саши и, наевшись колбасы, которая ему очень понравилась, так и уснул у него на руках. Абад постелила ему на кровати, что стояла рядом с супой, и уложила.

— Ну, а как там брат твой, Сашаджан?— после долгих расспросов о войне, о фашистах, о тех немцах, которые сейчас живут в Германии, мол, не краснеют

ли их отцы за злодеяния своих отпрысков, наконец, к радости женщин, спросил тога.

— По-моему, он писал вам, тога?— тихо произнес Саша.

— Да, да,— подтвердила его слова хола,— ничего, даст аллах, вернется и он.— Повернулась к гостю:— Сашаджан, я тебе постелю тут на супе, хоп? Пора отдыхать, а завтра подумаем, как дальше быть.

— Это вам, тога,— сказал Саша, протянув уходившему старику гимнастерку.

— Спасибо, Сашаджан. Теперь я как командир буду. Надолго мне ее хватит.

— Да, ака,— сказала хола,— Саша словно видел, что вы сильно пообносились...

Абад постелила Саше постель, и когда он, раздевшись, лег, хола присела рядом. Ей не хотелось спать. Как, впрочем, и Саше.

— Ну, онаджан, расскажите, как же вы тут жили, а?..

Это письмо было необычным, не треугольным, как всегда, а тугой прямоугольный конверт. Словно бы он пришел из учреждения, а не от сына. Хола взволновалась и еле дождалась вечера, чтобы пойти к бухгалтеру домой. Но она ничего не сказала невестке, боясь расстроить ее. А передумала всякое. И оттого нервы ее были натянуты, как струна дутара, и сама она представлялась себе человеком, идущим по знойной пустыне, измученным жаждой. Едва подоив коров на ферме, хола отправилась к Рашиду-тога, даже не заглянув домой.

Бухгалтер был крепким мужчиной, как палван. Он редко бывал трезвым, всегда у него заплетался язык, но «дело», по словам знавших его, он выполнял, как

аргист,— колхозник у него всегда оказывался должником.

— А-а, Халимахон,— сказал он, увидев появившуюся в дверях женщину. Он уже сидел за столом, на котором стоял пузатый самовар, и дул зеленый чай.— Письмо?

— Ага. Необычное какое-то, тога.

— Сейчас посмотрим.— Он нацепил очки и, глянув на конверт, произнес:— Нормальное. Обратный адрес — полевая почта. Если бы что-то не то, из военкомата пришло бы.— Из конверта, когда он его вскрыл, выпал листок бумаги и газета. Тога молча пробежал по строчкам письма, просмотрел газету и добавил:— Всем вам привет от сыновей. Воевали они где-то там, много фашистов побили. И обонх их наградили медалями «За отвагу». Вот и все. Поздравляю, такой орел вышел из нашего колхоза!

— Спасибо, тога,— воскликнула хола радостно,— пойду невестку обрадую!

— Газету не потеряй, сестра,— крикнул ей вслед бухгалтер,— она сейчас очень нужна колхозу.

— Надо б отметить это событие,— предложил брат, выслушав Халиму-холо.

— Хоп. Может, овцу заколем, а когда сыновья вернутся... даст аллах еще!

— Лучше петуха, верпо, келин?— произнес он, обратившись к Абад.

Маленький праздник в доме Халимы-холо запомнился им надолго. До самого конца войны и еще с полгода после нее они не испытывали такого блаженства от душистого плова, как тогда...

III

...Попову снялся сон, будто сидит он на песчаном берегу тихой речки, день ясный, в небе ни одного облачка, и потому все, что его окружает, кажется прони-

занным яркими лучами солнца, а волны лениво нака-
тываются друг на друга. Вода напоминает расплавлен-
ный янтарь. Рядом в кустах щебечут птицы. На
другом берегу прямо к воде подступила березовая ро-
щица, и деревья похожи на невест, сбжавшихся на
хоровод. Ему чудится, что березы-невесты поют груст-
ную песню на незнакомом языке. Мелодия песни, что
долетает до него вместе с плеском волн, приятная,
сладко волнующая кровь.

Саша приоткрыл глаза. Над головой, в густой лист-
ве чинары чирикали воробьи. Вдали за дувалом видны
залитые солнцем холмы-адыры, а на кровати с прова-
лившейся сеткой, словно в люльке, спит Фарход. Абад,
подпоясавшись платком, тем, что вчера прикрывала ли-
цо, поливает двор из ведра. Она стройна, как девуш-
ка-восьмиклассница, две черные тугие косы, когда
Абад подается вперед, чтобы зачерпнуть в пригоршню
воды, падают на упругую грудь. Когда вода кончается,
она выпрямляется и резким кивком головы откидывает
косы за спину и легко, как газель, идет к колодцу. Ли-
цо румяное, а губы словно бы налиты соком. Абад ста-
рается не шуметь.

Наблюдая за ней сквозь прикрытые веки, Саша по-
нял, почему Тулкун все время говорил ему, что краси-
вее его жены ни у кого в кишлаке нет. Да, Абад была
красива неброской красотой южанки. А может, это бы-
ла просто красота молодости? Саша не стал задумы-
ваться над этим. Нежиться в теплой постели, когда бы-
ло такое прекрасное утро, не хотелось, и он, громко
кашлянув, отвернулся от женщины и закурил. Песня
сразу оборвалась. Абад быстренько сняла платок с
пояса и накинула на голову. Когда Саша повернулся
к ней, она стала такой же, как и весь вчерашний вечер.

Саша поднялся и, одевшись, пошел к колодцу. Умы-
ваться из ведра было неловко, и он начал искать гла-
зами кружку или ковш.

— Прямо из ведра, Саша-ака,— посоветовала Абад,— как Фарходджан.— Пока он, кряхтя, как старик, и разбрызгивая вокруг себя воду, умывался, она вынесла из комнаты полотенце. Вспомнила, что вот так же выносила полотенце мужу, и погрузилась: «Скорее бы уж возвращался Тулкун-ака, такая тоска!»

После завтрака Абад и хола стали собираться на работу. Хотели разбудить мальчонку, чтобы его забрать с собой, но Саша попросил не тревожить его, мол, я с ним сегодня побуду. Хола подала ему кусок кислого молока, которое очень понравилось Саше. Оно напоминало простоквашу, но было вкуснее.

Попов обошел двор, заглянул через дувал в соседний. Там земля была обработана, на грядках зеленели огурцы и помидоры, вдоль заборов вились кусты тыквы с крупными и яркими оранжевыми цветами. А здесь все было запущено. «Без мужских рук,— подумал он,— видно, каждый дом обречен на это». Решив при случае заняться огородом, он, пока Фарход спал, починил калитку, потом убрал навоз в хлеву. Там было сыро, и он насыпал сухой земли.

— Мама! Мама!— захныкал Фарход, проснувшись.

— Салам, герой,— подошел к нему Саша и подал руку. Тот тоже протянул свою, продолжая, однако, звать мать.— Пошли умываться. Э-гей, братец лис,— сказал он, умывая его,— ноги и руки сплошь в цыпках, беспокоят, поди, страшно? Надо их немедленно выводить, но прежде займемся желудком...

Потом, взяв на руки племянника, Саша отправился по кишлаку. Люди, изредка встречавшиеся ему, здоровались, приложив руку к груди и склонив голову:

— Ассалам алейкум!

— Здравствуйтесь,— отвечал он по-русски.

Женщины, даже старухи, завидев его, прятали лица в платки, но Саша чувствовал, что некоторые

из них, проходя мимо, бросали любопытствующие взгляды.

Весть о его приезде дошла до председателя колхоза Амана-ака и секретаря партийного бюро Курбанова. Посоветовавшись с бухгалтером, они решили выделить мешок просяной муки для семьи Халимы-хола и один килограмм хлопкового масла. Вызвали ее в контору и объявили свое решение, мол, парень — россиянин, к тому же приехал сюда из госпиталя, так что его следует кормить, хоть и не роскошно, но и не держать на полуголодном пайке.

— Спасибо, ранс-бобо,— растроганно произнесла хола.— Приходите к нам познакомиться со вторым моим сыном.

Когда Саша с Фарходом вернулся домой, тут всю кипела подготовка к встрече именитых гостей.

— Может, и я чем помогу?— спросил Саша.

— С тебя хватит, сынок,— сказала хола, выглянув из кухни.— Хлев вон как привел в порядок, калитку починил да с племянником полдня провозился. Раненый, поберечься пока надо.

— Хоп, онаджан.— Он прошел на супу и подумал, что эта встреча ей обойдется в копейку, и вспомнил о своих деньгах. Он нашел свой вещмешок и, вытащив платок, в котором было завернуто семь тысяч рублей — все, что накопилось за годы войны, вручил матери.

— Деньги должны быть в руках мужчины!— сказала хола.

— Я привез их вам, онаджан.

— Ладно. Пусть лежат, надумашь жениться, истратим на той.

— Ну...

Председателя колхоза больше всего обрадовало то, что Саша до войны был кузнецом. В кишлаке была своя кузница, но мастерового вот уж третий год нет.

Как взяли в армию кузнеца, так она и закрыта, даже чайдуш запаять и то некому. Но уж больно молодым ему казался Саша для кузнеца.

— Я ремесленное училище кончал,— уже второй раз объяснял Саша,— три года учился. Да на заводе проработал...

— Не женаты пока?— спросил Рашид-тога.

— Не успел,— ответил старшина.

— А девушка, конечно, была?

— Да. Вместе в училище учились. Она работала токарем, Наташа. Я ушел в армию,— а она в ополчение. И погибла...

Ох, каким далеким показалось Саше то время, когда он проезжал Москву! Он остался на сутки в столице, сходил на свой завод, а там почти никого из тех, с кем работал, дружил, не осталось. Во всех цехах новые люди, молодые парни и девушки. Может, он и остался бы там, случись встретить кого... Нет, не остался бы, наверное. Потому что каждый уголок завода, улицы вокруг него, танцплощадка, да мало ли мест, где он бывал с Наташей,— напоминали бы ему о ней. А что может быть тяжелее этого?!

— Саша-тога, пошли за травой,— предложил Фарход картавя.— А то все дяденьки ходят, меня не берут.

— Зачем трава-то?

— Корове вечером зададим. А утром она даст много молока!

— Ишь ты,— удивился Саша,— все понимаешь! Ладно, найди серп и веревку, пойдем.

К вечеру принесли большой сноп травы. Саша бросил его в хлев, а Фарход быстренько принес немного воды в ведре и плеснул на него.

— Чтоб не завяла до вечера,— сказал он.

— Шкет, а уже столько знает!— усмехнулся Саша.— Ладно, теперь займемся твоими цыпками, они мне покоя не дают.

Он нагрел воды, нашел в вещмешке кусок хозяйственного мыла и так выкупал мальчишка, что тот сразу преобразился, стал румяным, с мягкой, словно бархат, кожей. Саша причесал ему волосы и посадил на супу, чтобы смазать цыпки маслом.

— Не надо, Саша-тога,— запротестовал тот,— больно, щипать будет!

— Значит, ты уже испытал это удовольствие,— рассмеялся Саша.— Ты — Фарход, герой, обязан терпеть, понял? Герои не плачут, стиснут зубы и молчат, так и твой отец говорил.

— Щипит, как от огня, тога.

— Ничего. Пощипит-пощипит и перестанет. Зато потом болеть не будет, знаешь как расти начнешь!

— Как?

— Быстро-быстро. Сразу меня догонишь.— Саша начал осторожно смазывать ваткой ногу.— Терпи, не шевелись. Пройдет три-четыре года — и в школу пойдешь, а с цыпками, брат... можешь на всю жизнь карликом остаться!

Как всякий мальчишка, Фарход хотел расти быстро. И потому терпел, но боль была такой острой, что он время от времени дергал руку, смахивал с глаз слезу, правда, ни звука не издав, потом снова подставлял ее Саше.

— А вы моего папу видели?— спросил он, когда процедура была окончена.

— Да.

— Красноармеец, да?

— Ну.

— И орденов много?

— До черта.

— Я его не видел, никогда не видел.

— А кто тебе сказал, что не видел?

— Сам знаю,— упрямо ответил он...

Когда хола и Абад вернулись с фермы, Саша и

Фарход обнявшись спали на супе. Хола прослезилась и сказала снохе:

— Какого доброго брата дал аллах твоему мужу, дочка!..

Абад вспомнила мужа. Он, как и все парни кишлака, был скупым на ласку. А однажды, это было месяца через два после свадьбы, он вдруг сказал ей:

— Знаешь, Абад, я тебя люблю, сильно люблю! Уйду на работу и не дождусь вечера, чтобы увидеть тебя. Разве такое бывает, а?

— Не знаю, ака,— ответила она тихо...

А потом... Война... Зима без мужа... Халима-хола запретила беременной снохе бывать на ферме, а дома велела заниматься только легкой работой, чтобы роды были благополучными. И Абад почти не выходила из дома. «Афганцы» приносили на своих крыльях ледяные дожди. Тополя, что росли почти в каждом дворе, сбросили листья и торчали как обшарпанные веники, воткнутые в землю ручками. Тяжелые тучи, проплывая над кишлаком, казалось, цеплялись брюхом за их верхушки. В такие серые и сырые дни Абад ставила сандал, садилась за шитье для ребенка. Было тоскливо на душе, кажется, она разрывалась от тревоги за мужа, от которого вот уже несколько месяцев не было вестей.

— Был я в военкомате,— сказал, зайдя к ним, Миршариф-тога,— за Тулкуна не волнуйтесь, у него служба такая, пошлют на задание, и даже по году они не могут подать о себе весточку.

— Ой, слава аллаху,— произнесла хола,— а я уж чего только не передумала...

Примерно через неделю после того дня Абад, подкладывая сухую колючку под чайдуш, услышала голос за калиткой:

— Халима-хола-а! Абад-опа-а!

— Кто там?— спросила она, выглянув из кухни.

— Я, почтальон! Вам письмо!

— Где?— Абад побежала к калитке.

— Вот.— Парнишка-почтальон протянул ей треугольник.— От Тулкуна-ака, там все сказано.

— Может, ты и прочитаешь его, йигит?— спросила она, глянув на конверт, надписанный русскими буквами.

— Сейчас,— ответил он бодро и, развернув письмо, начал крутить его и так и эдак.— Кажется, не по-нашему написано, опа?

— Ты же обещал прочитать!

— Да. Но раз я не смог сделать этого, значит, не по-нашему. Мы такие буквы в школе не проходили.

Страшно это — держать в руке весть о родном человеке и не знать, что он сообщает о себе. Какие только мысли не пронеслись в ее голове, пока она переговаривалась с парнишкой. Думала, что погиб ее муж, а друзья, видно, написали об этом на своем языке. В Баландсае уже случилось такое.

— Говоришь, что письмо от Тулкуна-ака, а прочитать не можешь. Как же ты узнал, что он написал его, а?

— Рашид-тога, бухгалтер, сказал,— ответил тот,— он даже красным карандашом надписал его, чтобы я не перепутал.

Абад посмотрела на обратную сторону листа и увидела выведенное латинским шрифтом «Халима». «Пойду к нему,— решила Абад,— пусть прочтает, что пишет Тулкун-ака». Она не стала дожидаться, пока вернется свекровь, собралась и пошла в контору.

Снег за день немного подтаял, улицы превратились в месиво, того и гляди калоши в грязи оставишь. Пустынно, словно бы мор прошел по ним. Изредка встретится женщина или старик. «Напрасно я напялила на себя паранджу,— подумала Абад,— здесь и прятаться не от кого!» Раньше, бывало, невестке и не появиться на людях, начнут парни острить да бросать вслед

реплики, добро бы приятное, а то и... Некоторые женщины были в синих платьях, и у Абад сжималось сердце: «Эти теперь уже никогда не увидят своих сыновей или мужей. О небо, не допусти такое».

По пути заглянула в магазин. И он ее поразил. Когда она еще была девушкой, то часто с подругами ходила туда. Полки магазина были забиты ситцами и сатинами, такими яркими, что глаза разбегались. А сколько было сахара?! И большими белыми головками, похожими на минарет, и маленькими кусочками, которые называли рафинадом. И просто разными кусочками в мешках. Конфет, особенно леденцов, на десять копеек давали целую горсть. Абад и ее подруги чаще всего покупали их, а потом шли и грызли с хрустом, как жареную кукурузу. Абад же любила по-другому. Она клала леденец под язык, обсасывала его, а потом брала его кончиками пальцев и сквозь него разглядывала солнце — он светился, как осколочек стекла, как бусинка. Теперь перед нею были пустые полки, похожие на рамы окон в заброшенных домах. Вот здесь, в магазине, Абад впервые поняла, что это такое — война. И была бесконечно благодарна своей свекрови, которая всячески ограждала Абад от нужды...

Халиму-хола Абад встретила радостной. Показала ей письмо от сына и пересказала его содержание.

— Русский ли у нашего Тулкунджана друг или еще кто, — сказала хола, — важно, что есть друг. Значит, он не одинок, дочка...

IV

Мысль основательно заняться огородом не оставляла Сашу, а после того, как председатель колхоза, рассказывая о местных условиях, заметил, что тут до наступления холодов можно еще получить запросто урожай огурцов, он решил не откладывать дела в долгий ящик. Но

на первых порах это ему не удавалось. И вот почему. По традиции, его каждый день кто-нибудь приглашал в гости. Правда, дастархан хозяина зачастую не отличался достатком — где десяток яиц, сваренных вкрутую, с черной ячменной лепешкой, а больше — миска с кашей из пшеничной крупы — ярмы, были на нем, но приглашение — признак того, что тебя считают своим, признак уважения, значит, надо идти, посидеть несколько часов, поддержать разговор. Саша брал с собой Фархода, тот теперь ни на шаг не отставал от своего дяди, сильного и доброго. Да и сам Саша с удовольствием оставался с мальчонкой, любопытным, не по годам смысленным сорванцом, который, однако, всегда был послушным. Фарход скрашивал его бездеятельную жизнь, к тому же и женщины получали возможность не отвлекаться от работы на ферме. Видя, что ее внук всегда с дядей да еще и на людях, хола как-то за вечер пошла Фарходу рубашечку и штанишки из того шелка, что подарил Саша, а Абад вышила на воротнике обновы яркий мак.

Но вот началась пора уборки пшеницы, и теперь не до гостей было мингтеракцам. Саша понимал это и сегодня, проводив женщин на работу, сначала почистил хлев, а затем прошел на огород и, мысленно наметив участок, который решил вскопать до обеда, разделся до пояса и взял в руки лопату. Земля была жесткой, как камень, и лопата отскакивала от нее со звоном. Проснувшийся Фарход потянул его за руку, привел на кухню и показал кетмень, что стоял в углу.

— Дедушка Миршариф, — сказал он, — им копают землю.

— Ах ты умница, — похвалил его Саша и, приподняв мальчонку, поцеловал в щеку, — молодец! Я ведь видел эту штуку, а не сообразил, для чего она. Ну, ладно, сначала, брат, умываться. — Он повел его к колодцу, умыл,

потом покормил теплым молоком с хлебом.— Ну, а теперь пошли работать.

Фарход спрыгнул с супы и побежал к огороду. Сел на большую кочку, сложив руки на коленях, невозмутимый, как статуя. Саша нахлобучил на его голову свою фуражку и взял в руки кетмень, тяжелый, как топор-колун. Взмахнул и с силой опустил на землю — гык! Пробив лезвием жесткий слой, кетмень легко вошел в землю. И пошло. Дело спорилось. Саша отрывался от него, чтобы выпить глоток воды, смахнуть пот с лица. В конце концов он снял и майку, заметил, что Фарход начал клевать носом, отнес на супу и уложил. Сам снова принялся за работу.

Прошло часа два, а может, чуть больше. Немного оставалось, чтобы закончить намеченное. И он почувствовал мгновенную слабость, кажется, ноги перестали его слушаться, подкашивались, закружилась голова, перед глазами поплыли черные искры. «Что это со мной,— успел подумать Саша,— умираю, что ли?» Он бросил кетмень, хотел пройти к колодцу, чтобы облиться водой, но, сделав всего два шага, упал и потерял сознание.

Халима-хола, как всегда, вернулась пораньше, чтобы приготовить обед и накормить мужчину дома. Открыла калитку и увидела Сашу, возле которого, теребя его и плача, сидел внук. Хола бросилась к ним. Отстранив внука, сама принялась расталкивать Сашу, но он, казалось, не подавал признаков жизни. Хола набрала ведро воды и плеснула на него. На секунду Саша открыл глаза, хотел подняться, но голова вновь бессильно упала на землю. А солнце пекло нещадно, и надо было поскорее убрать его в тень. Взяла под мышки, но сил у нее не хватило. Тогда она сняла с себя платок, прикрыла им Сашу и выбежала за калитку:

— Лю-у-у-уди-и, помоги-и-ите-е!

Мимо протарахтела арба, и хола попросила арбакеша помочь ей. Вместе с ним она перенесла Сашу на су-

пу и пощупала лоб. Он был горячим, как во время приступа лихорадки.

— Добрый человек,— взмолилась хола арбакешу,— заскочите к доктору, пусть он быстренько придет, а? Я побуду пока с ним. О аллах,— она всхлипнула,— на кой черт дался ему этот огород!? Сколько лет жили без него, обошлись бы и теперь!— Хола смочила платок в холодной колодезной воде и положила Саше на лоб.

— Силы не рассчитал парень,— сказал доктор, растирая ему грудь.— Хорошо еще, хола, что вы пораньше домой пришли, а то до несчастья был шаг!— Он влил в рот Саши несколько глотков воды и начал усиленно двигать его руками и ногами, словно бы искусственное дыхание ему делал.

Саша открыл глаза. Голова его была тяжелой, словно бы налитой свинцом, а в глазах все еще плыли черные круги.

— Ну, вот, кажется, все,— сказал доктор,— теперь ему покой нужен да место попрохладнее.

— О аллах,— произнесла хола,— спасибо тебе за милость, жив останется мой сыночек, щедро отплачу тебе!

— Не спешите, хола, аллаху своему платить,— сказал доктор,— если есть возможность, поддержите парня хорошим питанием. Слаб он!..

Сашу перенесли в комнату, и хола, собираясь на работу, наказала Абад, чтобы она находилась при нем. Почаще меняла мокрый платок на его голове.

— Саша мне дал немного денег,— сказала хола брату,— может, съездите на базар и купите овцу, ведь...

— До пятницы еще четыре дня,— перебил ее тога,— а парня, насколько я понял доктора, надо уже сегодня хорошо кормить.

— Умница вы,— сказала хола,— возьмите нож да заколите нашу овцу!

— Что ты, Халима,— воскликнул тога,— ту овцу ты

купила для тебя, когда оба твоих сына сядут за дастархан. Богу слово дала.

— Вместо той купи другую, ака,— раздраженно произнесла хола,— разве мало белых овец на базаре?!

— Ты ее так откормила,— с сожалением произнес тога.

— Тулкунджаново с ним и придет,— сказала хола твердо,— видно, так аллаху угодно. Заколите. Какой палец не укусишь, всей руке больно, ака. Сашаджан для меня такой же сын, как и его брат!— Она поднялась, считая разговор на эту тему законченным.— Хоп, келин, смотри за больным.

Саша слабо стонал. Он изредка открывал глаза, обводил невидящим взглядом комнату и снова впадал в забытье. Абад, накладывая мокрый платок на его лоб, когда он открывал глаза, осторожно приподнимала голову и вливала в рот молоко. И так до самого вечера, пока больной, наконец, не пришел в себя и не спросил у Фархода слабым голосом:

— Напугал я тебя, плямяш, а? Ничего, пройдет!

— Лежите спокойно, Саша-ака,— сказала Абад,— врач запретил вам волноваться.

— А что он сказал о моей болезни, Абадхон?— спросил он.— Я такой слабый, словно месяц на одной воде жил.

— Солнечный удар, ака,— ответила она и дала воды, положив под его голову руку и чуточку приподняв ее.

Саша почувствовал тепло и нежность ее руки. Что-то словно током пронзило его. Это, видимо, передалось и Абад, она вспыхнула, как мак, и отвернулась...

V

Прошла неделя. Стараниями Халимы-хола и Абад, благодаря хорошей пище к Саше стали возвращаться

силы, он уже поднимался с постели, сидел вечерами на супе и дышал свежим воздухом. И вот однажды, когда семья чаевничала, управившись с делами, к ним пришел председатель сельсовета Пулатджан, среднего роста, примерно одних с Сашей лет, парень-фронтовик. Вместо правой ноги был тяжелый протез, который стучал по земле, как копыто коня. Поздоровался с хозяевами, расспросил их о жите-бытье, присел на краешек супы.

— Давайте суюнчи, она! Только что звонили из военкомата, просили вашего сына Тулкуна Якубова приехать и встать на учет. Мол, документы давно пришли, а сам не заявляется.

— Что вы говорите, Пулатджан?— удивилась хола.— Разве, если бы он вернулся, вы не услышали о том?!

«Ну, Саша,— сам себе сказал старшина,— проби-т твой час, пора доложить людям правду. Нельзя больше испытывать судьбу!» И он тихо произнес:

— Тулкун не придет, онаджан. Никогда не придет!

— Что вы говорите, добрый человек?— сама не заметив того, перешла на «вы» хола, повернувшись к Саше.— Мой сын придет, вой и сельсовет уже знает. Задержался, наверно, в пути...

— Я ваш сын, онаджан,— сказал Саша.

— Вы само собой,— кивнула хола,— но у меня есть еще Тулкунджан.

— Я Тулкун Якубов,— твердо сказал Саша и, повернувшись к секретарю, добавил:— Передайте в военкомат, я на днях приеду туда.

Хола оцепенела, несколько минут не могла произнести ни одного слова. Ей казалось, что этот русский парень не в своем уме, раз выдает себя за ее родного сына. Да, он — побратим Тулкуна, но не... Очнулась и спросила:

— Вы — мой сын? Вы — Тулкун Якубов?

— Да, я ваш сын,— ответил Саша.

— Ха-ха-ха,— нервно рассмеялась хола,— люди, посмотрите на этого сумасшедшего, разве он — мой сын? Почему так, а? Почему? А где ж тогда мой Тулкунджан?— Она встала и, схватив Сашу за ворот, начала трясти его.— Где мой единственный сыночек, мой ягнечок? Что вы с ним сделали, а, что? Отвечайте!

Хола кричала так громко, что ее услышали в соседнем дворе и прибежал Миршариф-тога.

— Что тут происходит?— спросил он, увидев вцепившуюся в Сашу сестру.

— Акаджан,— произнесла хола, все еще не отпуская парня,— вот этот человек утверждает, что он — Тулкун Якубов. Почему? Или он безумец, или я, ака!— Она опять повернулась к Саше:— Почему вы, добрый человек, мой сын? Объясните! Что с моим родным сыном? О аллах, чуюло мое сердце беду, чуюло!

— Саша, объясните, в чем дело?— обратился к нему тога и крикнул сестре:— Перестань ты трясти парня, Халима! Человек только выздоравливать начал. Отпусти, сейчас все выяснится. Ну, Саша? Что же случилось?

— Тулкун погиб,— ответил Саша,— давно погиб!

— А письма?— спросила хола, отпустив его.— Письма разве сами писались?

— Письма писал я,— ответил старшина.— И если я неправильно делал, простите меня, ведь я хотел как лучше...

— Неправда, неправда,— воскликнула хола,— вы обманываете нас, Саша! Я не хочу иметь такого сына, как вы, не хочу! О аллах, а я этому человеку отдала овцу, которую... Прав ты, о аллах, наказав меня! Но человек... Почему он преподнес мне такую черную неблагодарность? Скажи мне, о небо!

— За хлеб-соль, за все, что вы для меня сделали, онаджан, большое спасибо,— тихо сказал Саша,— буду жив, никогда не забуду этого, всю жизнь я считаю себя вашим должником. Спасибо, что выходили, как мать. У

меня не было матери, я не знал, что это такое — забота матери. Теперь я знаю, что для человека означает мать. Низкий вам поклон за это, анаджан. Как бы вы не думали обо мне, я никогда не забуду вашу доброту и тепло ваших рук и сердца! А Тулкун, мой брат... погиб! Я очень хотел, чтобы фашистская пуля унесла меня, а он вернулся к маме, к жене и сыну. Я не виноват в том, что этого не случилось. Он, брат мой, погиб на моих глазах, и я сам, вот этими руками, предал его земле!..

Саша вспомнил тот далекий летний день сорок третьего года...

... Редко случалось, чтобы весь батальон поднимали сразу. Обычно одни группы уходили, другие возвращались, а третьи — готовились, словом, казарма никогда не пустовала, она напоминала зал ожидания большого вокзала, где круглые сутки нескончаем людской поток. Но когда оставался один хоззвод, десантники знали: работа предстоит жаркая.

В ту ночь подняли всех. Каждый из ребят думал, что и на этот раз, как бывало, он окажется в глубоком тылу противника, пробудет там долго и... может, останется навсегда. Война без жертв не бывает, и десантники знали, что любой бой может стать для каждого из них последним. Знали и потому не думали об этом, когда речь шла о выполнении боевого задания — от этого зависела жизнь сотен, тысяч других на передовой, да и там, в тылу самого врага. Вот и на этот раз десантники готовились к длительному пребыванию там. Но самолет с группой капитана Казакова пересек линию фронта на очень большой высоте, пролетев с полчаса, чуть ли не в пике, начал снижаться. И тут же приказ: выбрасываться! Все в недоумении глянули на командира.

— Давай, ребята, все правильно, — крикнул он.

— Тади я пишов,— сказал старшина Голубь и шагнул в открытый люк.

Приземлились на опушке большого леса, быстренько собрали парашюты и, выставив дозор и охранение, двинулись в глубь его. Было сыро, пахло прелью. Часов пять шли без отдыха и перед рассветом оказались у неширокой, но полноводной реки. Капитан объявил привал, но костры разжигать запретил. Выбирая места посуше, бойцы стали располагаться под деревьями и принялись за сухари да за тушенку.

— Кажется, пронесло,— сказал капитан, присоединившись к ним.— Немцы решили, что на такой большой высоте летят только в глубокий тыл, а мы чуть ли не на хвост им сели.— Похрустев малость сухарем, добавил:— В трех километрах ниже по течению есть железнодорожный мост, завтра к утру его не должно быть, ребята. Таков приказ!

— Зробим,— сказал старшина,— це ж пустяк!

— Погоди робить,— заметил капитан,— по данным разведки, мост охраняет рота солдат, как рейхсканцелярию какую. Тут надо подумать. Чтобы мост перестал существовать, чтобы шума не было и, главное, не было потерь. Видишь, сколько «чтобы»? Назначай караул, старшина, и пошли. Побачимо, как у вас говорят. Остальным — отдыхать!

Якубов и Попов устроились в сторонке под большой сосной и, хоть устали порядком, долго не могли уснуть, думали о том, что предстоит... Но усталость брала свое, глаза слипались сами. День прошел спокойно. К полудню вернулись капитан и старшина Голубь. С готовым планом действий, не очень оригинальным, правда, но единственно приемлемым при данной ситуации, когда время торопило, решили пустить дерево по реке, начинив его взрывчаткой. Когда оно зацепится за быки, надо было поджечь шнур.

— Если это дерево не зацепится,— сказал капи-

тан,— задание не выполним. Значит, нужно кому-то вести его по реке. Кроме того... и шнур надо подпалить, всякие окислители непригодны. Взрыв может произойти раньше времени.

— Адин деревья пускал делить, да?— спросил Якубов.

— Ну,— ответил Голубь.

— Такой делить нельзя, товарниц капитан. Пошист исволить, но не дурак. Он понимал делить!

— Правильно, Якубов,— согласился с ним командир,— пустим сразу несколько деревьев, а то, что со взрывчаткой, зацепится. Его поведут двое, для страховки.

— Я пиду,— вызвался старшина,— усе там бачив, знаю, шю где!

— Еще кто с ним?— спросил капитан.

— Я,— сказал Якубов.

— Я,— сказал и Попов.

— Пусть Якубов,— произнес Голубь,— он це дило дуже гарно знае.

— Товарниц капитан,— обратился к командиру Попов,— разрешите втроем, а, надежнее!

— Вы поплывете с первым деревом, Попов,— сказал капитан,— если оно пройдет, задание выполним!..

Большую ветвистую сосну свалили и нащипговали взрывчаткой, как краковскую колбасу шпиком. Все деревья спустили на воду около полуночи, но не сразу, а метров через сто каждое. Течение тихое, и по расчету Казакова они должны были подойти к мосту перед рассветом, когда не столь бдительна охрана. Было глубоко, вода довольно прохладная. Когда плывешь ночью по реке, видно далеко. Попов вел дерево и видел второе, которое тоже пройдет под мостом и лишь третье — зацепится. Оно, как кочка, виднелось вдали. Когда дерево Саши оказалось у моста, по нему небрежно полоснул луч фонарика и тут же погас. Второе тоже прошло нор-

мально, а третье уперлось о быки. На сотую, может, долю секунды блеснул запальный шнур, и в то же время с моста резанул автомат. Начали стрелять и по тем, что проплыли, и тем, что подходили. Включились прожекторы, и в это время над водой взметнулось рыжее пламя, а мощный взрыв оглушил Попова. Мост переломился надвое и осел в реку, фашисты заметались на полотне дороги, спасаясь от пуль десантников.

Попов, немного придя в себя, подплыл к мосту, но там ни Голубя, ни Якубова не нашел. Их трупы бойцы нашли в полукилометре ниже, после того, как, уничтожив охрану, собрались в указанном командиром месте. В том бою погибло пятеро десантников, а капитана ранило в ногу.

На крутом изгибе рски, у края березовой рощи, бойцы похоронили своих товарищей. Близился рассвет, и надо было уходить. На стволе березы, что росла рядом с могилой, Попов вывел химическим карандашом имена и фамилии похороненных, а вместо «Якубов» поставил свою: «А. Попов, гвардии сержант». Было еще темно, и на это никто из присутствующих не обратил внимания. Десантники молча постояли над могилой. Далеко-далеко грохотала канонада, с которой в то утро началась Курская битва.

— Вся армия салютует им, — сказал капитан и надел пилотку. — Прощайте, ребята!

Группа направилась в чащу леса. Казаков шел позади, чуть прихрамывая. Попов решил сказать ему о том, что на березе написал свою фамилию. Подождал, пока он поравняется, и тихо произнес:

— Товарищ капитан, я ведь вместо Якубова свою фамилию написал на березе.

— Зачем? — спросил безразличным тоном капитан.

— Побратались мы с ним по узбекскому обычаю.

— Ну и?..

— Теперь я должен носить его имя и фамилию.

— Гм. А чего я его родителям напишу?

— Ничего, товарищ капитан. Надо написать о Попове.

— Ты что?— воскликнул капитан и повертел пальцем у виска. Но, глянув на него, сказал миролюбиво:— Ладно, придем домой, поговорим...

Потерпев поражение, гитлеровцы драпали без оглядки и в основном по большим дорогам, в леса не совались. Фронт быстро передвигался на запад, и когда десантники к концу вторых суток вышли из леса, оказались в тылу своих уже. В батальоне Попов написал рапорт на имя командования и в нем подробно изложил ситуацию. А своих командиров упросил подождать с похоронкой в Узбекистан. Через месяц пришло разрешение командира корпуса, и Саша стал сержантом Тулкуном Якубовым. Официально... Письма продолжали идти в кишлак.

— Вот и все,— сказал Саша.

Халиме-хола не верилось, что ее родного сына уже нет. Ей казалось, что письма, которые приходили всю войну и после нее, этот русский парень писал со слов живого Тулкуна, не мог он от имени мертвого поддерживать в их сердцах надежду. «Может, аллах и наказывает меня так жестоко, что я признала своим сыном неверного,— подумала она.— Ну да, за это я и страдаю. Грешна я перед богом и если не искуплю этот грех, новые беды свалятся на наши головы. О аллах, я ведь хочу увидеть внука взрослым, дай мне силы и несколько лет жизни. Пусть мой Тулкунджан погиб, а не этот неверный. Будь щедрым, небо, пусть теперь мне сына заменит внук, внук, а не он». И она, вытерев рукавом слезы, жестко сказала Попову:

— Я не хочу вас видеть, уходите! Прочь из моего дома!..

Саша встал и направился к калитке. За ним побежал Фарход, молчавший все это время.

— Саша-тога, Саша-тога,— закричал он, начал плакать, вцепившись в него,— не уходите! Я не отпущу вас! Не отпущу!

— Не плачь, Фарходджан,— сказал ему Саша, остановившись и присев на корточки.— Ты побудь немного с бабушкой и мамой, я схожу в контору и вернусь, хоп?

— Правда, тога?— мальчишка перестал плакать.

— Ну, разве я тебя обманывал когда-нибудь, а?

— Не-а.

— И теперь не обману. Ну? Ты же Фарход, герой. А герон не плачут!

— Вы только быстрее приходите, хоп,— сказал Фарход,— я буду ждать вас, спать вдвоем ляжем.

— Нет, так дело не пойдет, брат, а вдруг у меня там дел много будет, ты и будешь ждать, что ли? Герои должны вовремя ложиться, понял? Иначе они не вырастут.

— Я буду ждать, тога,— не унимался мальчонка.

— Будешь, сынок,— сказала ему тихо Абад, уводя от Попова...

Странное чувство овладело ею. Кажется, что ее сердце стало сразу равнодушным ко всему, что только что пережила. И эта страшная весть о гибели мужа, и жестокость свекрови по отношению к в общем-то невинному человеку — Саше, и этот громкий плач сына,— казалось, все это слилось воедино и превратилось в нечто такое, чего нельзя сразу постигнуть. Она подняла на руки сына, но не смогла сдвинуться с места, будто ноги приросли к земле.

— Простите меня, Абад,— тихо сказал Саша, поднимаясь,— не хотел я всего этого, не хотел. Спасибо вам за все, сестра!

Звук хлопнувшей калитки вернул Абад в действительность. Она повернулась к супе, но все, кто сидел на ней, показались ей окаменевшими. А над двором висела звенящая тишина...

Ближайшее будущее Попову [?]казалось таким же темным, как ночь, окружавшая его за калиткой. Надо было подумать. Он прислонился спиной к дувалу, почувствовав снова усталость, присел на корточки и вытер рукавом пот с лица. Было тихо и даже вездесущих мальчишек не слышно было в эту пору.

Он не сознавал, что после гибели Якубова, поддерживая в сердцах его близких надежду, совершал нравственное преступление. Саша твердо был убежден в том, что поступал правильно, как требовал обычай и условия, поставленные самим Якубовым. Тем более что братанье было скреплено кровью. И все же где-то подсознательно он чувствовал, что бурного сегодняшнего объяснения можно было избежать, если бы он честно сообщил о случившемся. Тогда бы все встало на свои места и, в зависимости от желания хола, он приехал или не приехал к ним. «Как бы ни было,— решил он наконец,— я поклялся на крови и обязан исполнить слово. Если мне не суждено жить в доме брата, остаться в кпшлаке никто не запретит. Я позабочусь, чтобы его сын вырос с моей помощью, буду помогать его семье, пока Абад не выйдет замуж. Завтра пойду к председателю колхоза и попрошу работу... Да, куда сейчас идти?» На этот вопрос он ответить не мог.

— Нескладно как-то получилось, ошна!— услышал Саша голос председателя совета. Поднял глаза и увидел его перед собой.— Несуразно. И как это я сам не догадался, черт бы меня побрал!? Предупредил бы тебя, а там... Хоп, чего сидишь, брат, пошли.

— Куда?— Саша встал.

— Ночь на дворе. Сейчас пойдем ко мне, а завтра... утро вечера мудренее, говорят у русских. Посоветуемся. Халат, скросанный по совету, не жмет в плечах.

— Спасибо, Пулатджан,— сказал Саша и пошел рядом с ним.

В доме секретаря было все таким же, как и у Халимы-хола. В центре двора дерево, под ним супа. В глубине двора дом, кухня, напротив — хлев и сарай для дров, между ними — огород. Вообще-то Попов первое время удивлялся: до чего же скудна фантазия местных жителей, но потом понял, что такая планировка дома и двора диктуется климатическими условиями. При общем сходстве двор председателя сельсовета был более уютным, ухоженным. Но это уже было следствием того, что здесь имелись мужские руки —самого Пулатджана и его тестя, седебородого, но еще крепкого по виду старца, что восседал на супе.

— Прошу, Саша,— предложил председатель, указав за супу,— располагайтесь.— Он крикнул в дом:— Кампырджан, чай ставь, гость пришел!

— Ассалам алейкум, бобо,— поздоровался Попов со стариком.

— Ваалейкум, йнгит,— ответил тот и кивнул,— садитесь.

Саша сел на курпачу, протянул ноги и, как требовали традиции, которые он начал познавать, когда бывал в гостях, спросил:

— Здоровы ли вы, ота?

— Слава аллаху, как сами, сынок?

— Ничего.

— Это друг Тулкуна Якубова, ота,— представил Сашу председатель,— зовут Сашей.

— А-а, так это он приехал к Халиме?

— Да.

— Слышал. Знал я отца Тулкуна, убили кулаки. Бедно жил, совсем бедно. Ну, а как он сам, Тулкун, жив-здоров? Халима хвасталась как-то, что вот, мол, побратим сына приехал ко мне, скоро и Тулкун вернется. Обещала пригласить на той.

Беременная жена Пулатджана принесла дастархан и чайник чая с пиалами. Поставив все это перед мужем, она поздоровалась с гостем. Саша ответил на приветствие. Пулатджан расстелил дастархан перед Сашей, разлил чай в пиалы и, подав одну старику, спросил у него:

— Скажите, ота, у узбеков существует обычай, чтобы чужие люди, вернее дети разных национальностей, клялись быть братьями?

— Испокон веков было. У меня самого был брат, правда, мусульманин, башкир по национальности, да вы его знаете, звали Муратом. Умер в рабочем батальоне, на Урале.

— По-моему, он в МТС работал?— сказал Пулатджан.

— Ага. Слесарем. Хороший был брат, честный. Бывает, что становятся братом и сестрой.— Старик говорил неторопливо и, как бы в такт словам, покачивал головой.— Часто, очень часто вступают в самое близкое родство — матери и сына. А как же иначе?

— И всегда кровью клянутся, да?

— Всяко бывает, это зависит от самих людей. Но одно непременно — вступившие в родство объявляют об этом народу, делают той.

— И даже именами меняются?— продолжал расспрашивать Пулатджан скорее для Саши, чем для себя.

— Не знаю, дорогой, не слышал об этом.

— Вот такое дело, ота,— сказал секретарь,— скажем, один из братьев умер или... вообще пропал, нет его. Что должен сделать другой?

— В старину было так,— ответил тот,— да еще и когда колхозы начали создаваться, этот обычай сохранялся,— если кто-то из родных братьев в семье умирал, Азраил ведь приходит, когда ему заблагорассудится, и если умершим был старший брат, все заботы о его семье ложились на плечи младшего, неженатого. Он и обязан был продолжить род, то есть жениться на снохе.

— Гм,— усмехнулся Пулатджан,— даже если эта сноха старше на двадцать лет?

— Все равно. Я помню, когда тринадцатилетнего мальчика женили на тридцатилетней жене брата. А как же иначе? Племянники для него что родные сыновья, разве можно допустить, чтобы кормил их и растил чужой человек. Это несправедливо!

— Из этого вытекает, Саша,— произнес председатель,— что вы обязаны остаться в Мингтераке. Сын Тулкуна — ваш сын!

— Да. Я никуда не уеду.

— Остальное потом приложится, брат...

Распространение новостей в кишлаке можно сравнить с цепной реакцией. От двора к двору, через дувалы и калитки несутся они, обрастая подробностями и небылицами. Пока Саша спал на суне в доме Пулатджана, о том, что случилось в доме Халимы, узнали все мингтеракцы. А председателю колхоза Аману-тога сообщили еще, что человек, на которого он рассчитывал, кузница-то бездействовала, решил уехать из кишлака. Потому он и появился у Пулатджана рано утром, едва старик, совершив омовение, расстилал коврик на суне, чтобы помолиться. Аман-тога терпеливо ждал, пока бобо завершит свое дело, потом негромко, чтобы не разбудить спящего Попова, поздоровался с ним и, расспросив о здоровье, поинтересовался, как себя чувствует русский парень.

— Под утро заснул,— ответил бобо,— видно, размышлял.

— Да,— согласился раис,— тут не захочешь, так будешь думать. Такой удар обрушил на голову Халимы!

— А что случилось, раис?

— Оказывается, сын Халимы погиб, а этот парень взял его имя, письма писал сюда и вот... сам приехал.

— Гм. Чего это, думаю, зять меня так расспрашивал о наших обычаях? Теперь вижу — без ветра лист не шелохнется.

— Говорят, якобы такое условие перед ним ставил сам Тулкун, ота.

— В таком случае он ни при чем,— сказал старик,— он исполнил то, что требовал сын Халимы. Откуда ему знать о наших обычаях?! Передайте Халиме, пусть не винит парня. Я и сам, при случае, скажу ей.

— Не слышали, ота, не собирается он уезжать из колхоза?

— Наоборот, сегодня к вам хотел идти, раис, работу просить.

— Молодец, настоящий джигит!— воскликнул раис.— А то уж я начал волноваться, ведь столько надежд возлагал на него. Хоп, я пойду в контору, как проснется, пусть заглянет ко мне с Пулатом...

Когда Саша и председатель колхоза отправились к кузнице на окраину кишлака, день только начинался. Долина реки, что лежала далеко внизу, еще утопала в сизых сумерках, а дальние адыры Ббботага и вершины гор напротив уже окрашивались в огненный цвет. Над кишлаком нависала тень высокого холма, округлая спина его была отчетливо видна на фоне голубеющего с каждой минутой неба. Во дворах мычали коровы, блеяли овцы, где-то кричали молодые петушки, как всегда проспавшие рассвет. Гремели ведрами, кое-где из калиток уже выгоняли скот и почти над всеми домами в небо ввинчивались сизые столбики дыма.

— Да,— произнес раис, идущий впереди по тропке,— как-то неожиданно все получилось.

— Если б я знал,— воскликнул Саша и замолчал. Спустя некоторое время заговорил так, словно боялся, что его прервут:— Я бы, конечно, поступил как мужчина, написал бы всю правду. И потом... Никто и нигде меня не ждал, девушка погибла, самых близких друзей тоже прибрала война. Вернуться на прежнее место, значит, обречь себя на вечную пытку. Нет, не осмелился я, раис-тога, Струсил. И растерялся. И тогда, когда хоронил

брата, и тогда, когда вышел из госпиталя. Я отдал себя в руки обстоятельств, хотя, как десантник и разведчик, не имел права этого делать. Но... не знаю, сам не знаю, почему так получилось. И все равно... Я ночь не спал, думал. Решил, что бы не случилось, я обязан довести до дела Фарходджана, сына моего брата, раис-тога. Иначе... Нет, клятвоотступником я никогда не стану!..

— Вот это настоящий поступок йигита, Саша,—сказал председатель, услышав последние слова.—Что бы ни было, вы дали клятву, вы обязаны ее исполнить. За судьбу мальчика вы в ответе, как отец.

— Поэтому я и решил остаться, тога.

Подошли к кузнице. Это было приземистое покосившееся глинобитное здание, убогое, пугавшее людей своей безжизненностью.

— Три года не можем найти ей хозяина,—сказал раис.

— Теперь есть,—усмехнулся Саша, представив себя мысленно в роли хозяина этой развалюхи.

— По-моему, печь там негодна,—сказал Аман-тога, толкнув ногой висевшую на одной петле дверь, отчего в помещении поднялась мелкая, горькая пыль. Раис, а за ним и Саша начали чихать.— Со временем построим новую, а пока надо пустить эту и как можно быстрее. На носу — вспашка под озимые, а наконечники омачей затупились, кетмени и лопаты ни к черту, даже негде наточить. А куда без них дехканину деваться?

Меха и печь были сравнительно целыми, даже уголь под железным хламом в углу валялся.

— Нужны ведро, лопата и инструмент, раис-бобо,—сказал Саша, осмотрев кузницу.

— Инструмент весь на складе, я его сейчас же пришлю. И парня дам в помощники, крепкого, чтобы тяжелую работу выполнял. А как загорится огонь у вас, пусть станет молотобойцем.

— Добро,—Саша кивнул.

— Ну, успехов вам, Саша. Зайдите попозже в контору и выпишите все, что нужно вам, а комнату вам приготовят. Хайр...

Спустя три дня мингтерахцы услышали веселый звон наковальни и молота. Они обрадовались этому событию не меньше, чем большому празднику. Каждый понимал, что пуск кузницы сейчас равен новому трактору или комбайну, который бы подарили колхозу. А кроме того, сколько всякого дела по домам колхозников? Кому чай-душ починить надо, кому ведро запаять. Потянулись люди к ней, кто — по делу, а кто — просто так, подышать дымом кузницы.

Саша остерегался, как бы работа не свалила его опять, и, раздувая огонь в горне, решил было не переутомляться. Но как только кузница наполнилась знакомым запахом, забыл обо всем — он чувствовал такой прилив сил, что готов был работать без отдыха, свернуть гору...

VII

Мужчин на ферме, кроме двух мальчишек-пастухов да старика сторожа, не было. Со всем здесь управляются женщины. Что корм задать скоту, что убрать в помещениях, что за телятами присмотреть да коров подоить, — все лежит на их огрубевших за годы войны руках. Оттого и свободного времени у них почти не бывает, а если и выпадает час-полтора, то каждая спешит домой, чтобы хоть что-нибудь сделать еще. Изредка, когда этого времени явно недостаточно и нет смысла идти домой, женщины устраиваются на чорпае под навесом и заводят разговоры о своем житье-бытье. Кто похвастается обновой, что бывало очень редко, кто расскажет о проделках сына или внука, кто пожалуется на мужа или на его родственников, у которых, по ее мнению, слишком длинные носы, — словом, для каждой свое представляется

значительным, и потому разговоры на чорпае разнотемные.

О том, что к Халиме-хола приехал побратим сына, а значит, и ее сын, на ферме знали. Обо всем же, что происходило в ее доме после появления Сашни, рассказывала сама хола, рассказывала восторженно, даже, пожалуй, с гордостью. А вчера — так особенно.

— Удивляюсь я, Зульфия-опа,— сказала она заведующей, сидевшей рядом с ней, разворачивая узелок со снедью,— Сашаджан мой вроде бы и русский парень, неверный, а столько в нем любви и нежности, столько уважения ко мне, матери, только и слышишь «онаджан да онаджан», что, кажется, вырос он в узбекской семье. Надо же, а! Если бы не здоровье, думаю, ни минуты не сидел сложа руки! Ну, что калитка? Пустяк! Приложил он к ней руку, будто от хвори ее излечил. Пусть будет долгой и счастливой жизнь моего второго сына!

— Мужчина,— произнесла Зульфия-хола, кивнув головой и грустно вздохнув.

Ей под пятьдесят. Смуглое, худощавое лицо иссечено густой паутинной морщиной, волосы белы, как снег, а руки большие, как у мужчины, жилистые. Она всю жизнь сама была дояркой, а в сорок втором поставили ее во главе фермы, как коммуниста. И с той поры несет она свою нелегкую ношу молча, терпеливо, никому не жалуется на трудности, ни на кого не старается переложить их. Да и с чего бы ей быть жизнерадостной, если с войны у нее не вернулось трое — муж и два сына-близнеца Хасан и Хусан?! Однако работницы фермы знают, что за этой внешней оболочкой нелюдимости живет в ней добрая, щедрая на душевное тепло женщина. Расспросить с участием о боли, тревожащей чужое сердце, помочь советом, сходиться в правление, если возникнет необходимость, решить что-то там, поделиться порой куском хлеба, да и свои прямые обязанности исполнять добросовестно,— на все ее хватает. Потому и души в ней не чают работницы, ис-

сут свои беды и печали ей как матери, старшей сестре.

— Ровня с ровней водится,— сказала она,— твой Тулкун знал, с кем братался.

— Хлев убирает каждый день, а к вечеру польет двор, подметет, да так чисто, что иная женщина позавидует. Придем мы с келли после работы, посмотрим, как у нас дома, и сердце радуется, а Саша все «онаджан да онаджан!»

— Ой, Халима-опа,— весело заметила Шарафат,— вы так расхваливаете своего сына, что, боюсь, уведу я его. А что, парень пригожий, а то, что русский, так наплевать на предрассудки, лишь бы совет да любовь были! Даже лучше, что русский, дети красивее будут, беленькие, с голубыми глазами и черными волосами!

Среди работниц фермы, пожалуй, она самая видная. Среднего роста, стройная, белолицая, кажется, в кишлаке солнце только к ней было милосердным. Глаза у нее большие, как угольки, блестят, губы пухлые, того и гляди, кровь брызнет из них. Густые иссиня-черные волосы сплетены в две тугие косы и небрежно брошены за спину. Платья она носит чуть приталенные, и некоторые старухи осуждают ее за это, мол, так и норовит выпятить свои «прелести». Шарафат — вдова, живет со своей матерью. После того, как пришла похоронка на мужа, она ушла от свекрови к своим родителям. Года полтора назад при прежнем председателе Салимджане пришел по кишлаку слух, что она завела с ним роман, но утверждать это никто бы не осмелился, поскольку не пойман — не вор.

— Вай, Шарафатджан,— воскликнула Халима-хола,— детей мой сын любит больше всего на свете! Целыми днями с племянником своим возится, как клушка с цыпленком. Цыпки вон у него все вывел, отмыл так, что его теперь от городского ребенка и не отличишь. Спасибо аллаху, тысячу раз спасибо за то, что такого сына мне ниспослал, поистине беспредельна его щедрость!

— Ну, что ж, Халима,— сказала Зульфия-хола,— го-

ворят, маленького хвали, а большого — береги. Береги своего сына-то!

— Разве я что пожалею для него, опаджан? Сами знаете, вот он заболел у нас, перепугал всех. Заколола белую овцу, чтобы поднять его на ноги, слава всевышнему, стал поправляться он, румянец на щеках появился, опять кое-что начал по дому делать, хоть я ему и запрещаю это.

...Сегодня же от прежних восторгов и следа не осталось. Только расселись бабы, как Халима-хола начала оханвать Сашу самыми обидными словами. По ее теперешнему утверждению, Саша был добрым и нежным только потому, что хотел, как змея, вползти в ее дом, съесть белую овцу, да прибрать, если удастся, ее сноху, точно в кишлаке других женщин нет.

— Что ни молодуха, то — вдова, — сказала она, обращаясь к отсутствующему Попову, — женись на любой! А то... ишь ты, замахнулся на чужое добро! Мой Тулкунджан, законный хозяин Абад, жив, даже сельсовет об этом знает. Не нужен в нашем доме неверный, из-за тебя все наши беды в доме, чтоб тебе в аду сгореть!

— Может, все же он тебе правду сказал, Халима? — спросила Зульфия-хола.

— Бог с вами, опа, — всплеснула та руками, — лжет он от начала до конца, опаджан! Если бы мой сын, упаси бог, погиб, разве стал он письма писать? Да и похоронку бы прислалли?

— Ну, и куда вы его теперь, хола? — спросила Ша-рафат.

— Выгнала, как собаку, — зло произнесла хола, — остальное меня не касается. Я не обязана содержать каждого...

— Жестоко, хола!

— Ты же собиралась увести его к себе, — огрызнулась хола, — можешь забирать со всеми потрохами, нам он не нужен. Попробуй, попробуй, может, и тебе аллах

даст какую беду на голову! Вот уж я тогда посмеюсь над тобой, милая!

— Не считайте пельмени сырыми, хола!— сказала громко Шарафат.— Ваш аллах уже расщедрился так, что мужа моего забрал, теперь уж все равно, какую пакость он еще придумает. Я буду жить сегодняшним днем. Что проглотила — мое, а что жую, еще неизвестно чье!

— Интересно все же,— спокойно спросила Зульфия-хола, решив прервать возникшую перепалку между двумя женщинами, которая могла привести и к серьезной ссоре,— кто их надоумил обменяться именами в случае гибели одного? Я что-то не слышала о таком обычае.

— Если верить этому дьяволу, предложил мой Тулкунджан,— брезгливо ответила хола,— только я не верю ему, не мог мой ягненок до такой глупости додуматься! Что он, разум свой съел?

— Ну, а если, допустим, все же произошло такое,— сказала заведующая,— то понятно, почему тебе все время шли письма. Ведь он писал письма, да!

— Саша-ака так и объяснил,— ответила на этот вопрос Абад.

— А ты помолчи, бесстыжая,— набросилась на нее Халима-хола,— увидела пригожего уруса и готова забыть о родном муже! Лжет он и все! Я бы на твоём месте, келин, даже мысли такой, чтобы защищать его, не допустила, а ты... Спасибо, уважила мои седины!

Абад смутилась и, отвернувшись, беззвучно начала плакать. Слезы текли по её лицу, и она ничего не могла поделать с ними, то и дело вытирала рукавом. Это были слезы обиды, ведь говорят же, острое слово — рана в сердце. Свекровь ни с того, ни с сего обвинила её бог знает в каком страшном грехе. Разве она, Абад, позволяла думать о Саше иначе, чем как о брате мужа? Никогда. Такое ей и в голову не приходило. Откуда это взяла свекровь? О небо, мало того, что ты мужа отняла,

теперь вот и презрением свекрови хочешь наказать. За что?!

— Ну, вот,— сказала Шарафат,— теперь на невестку свою набросились без всякой причины. Ваш Тулкун не пророк Магомет, вполне мог предложить такое побратиму, откуда тому знать про обычаи, если их даже вон Зульфия-хола не помнит! Я не верю в то, что Саша все выдумал.

— Подол рукавом не станет, а недруг другом,— ответила хола более спокойно. Она и сама поняла, что переборщила с невесткой.— Кто поверит неверному, тот ни на эгом, ни на том свете покоя не найдет, беды будут вечными его спутниками!

— Болтовня это,— разозлилась Шарафат,— завели тут... аллах да аллах!.. Если бы он был, ваш аллах, разве обрек сотни женщин только из нашего кишлака на одиночество? Никто не видел его, а с того света тоже пока ни один умерший не вернулся, даже мулла, чтобы рассказать, какие там порядки! Я бы на вашем месте подумала, хола.

— Возьми к себе его и думай...

— А что, и возьму,— дерзко и серьезно сказала Шарафат.— Да сих пор я шутила, а теперь... И не признаю я никаких ваших аллахов, когда я попаду к ним в лапы, пусть вершат свой суд, а пока жива да молода, буду жить как мне хочется!

— Я после своего Якуба никого видеть не хотела,— ответила хола,— прожила с ним пятнадцать лет и ни одного слова плохого от него не слышала, не то, чтобы... Не слепая, вижу, как иная ради счастья бабского вся в сняхках ходит!..

— Вы пятнадцать лет прожили, а я пятнадцать месяцев только,— сказала Шарафат.— А про вашу Абад и говорить нечего, ей ваш почтенный аллах и того не дал!

Шарафат видела Понова два раза, когда тот с Фарходом приходил на ферму, видела мельком, потому что

он появился в самый пик работы. Он не вызвал в ней особого интереса, мужчина как мужчина, только голубоглазый да русоволосый. После того, как Халима-хола стала нахваливать его, решила присмотреться к нему, а теперь вот, когда она сама настойчиво предлагает взять к себе, подумала, что, пожалуй, сделает все, чтобы завладеть им. «Выйду замуж,— решила она,— рожу ему десять сыновей, самых красивых в кишлаке, и пусть все завидуют мне! А что до сплетен.. Где я живу в конце концов? В Советской стране, значит, люби того, кто сердцу мил!»

-- Не обижайся на Халиму, Шарафат,— сказала ей Зульфия-хола,— у нее тоже сердце в груди, не камень. А что на сердце предет, то и с языка сойдет. Всякому делу свой конец, всякой трудности свой предел, говорят. Пройдет время, и она, может, горько пожалеет о том, что здесь со зла наговорила. Сейчас в ней отчаяние говорит, оно, возможно, каждую из нас изменило бы. Доведись тебе самой такое, как бы поступила?

— Во всяком случае не выгнала человека на ночь глядя!

— Хоп, бог ей судья,— произнесла заведующая и поднялась с чорпан, дав понять, что пора и за дело браться. Она взяла вилы и, направившись в коровник, начала сгребать там навоз с остатками корма в кучки, чтобы потом вынести на носилках. Принялись за работу и остальные женщины. Разговор, только что закончившийся на чорпане, вызвал в душе каждой из них противоречивые чувства. Шарафат решила не откладывать надолго свое намерение и при первом же удобном случае встретиться с Поповым. Абад почему-то вспомнил тот день, когда она, склонившись низко, решила напоить больного Сашу. Теперь ей почудилось, что он в ту минуту посмотрел на нее не как брат мужа, а как мужчина, которому небезразлична женская ласка. Она задумалась и над репликой Шарафат, горькой, но справедливой. Пра-

ва она: аллах совсем скупым показал себя, так мало счастья дав Абад. А ведь и она — женщина!

Почти об этом же думала и Зульфия-хола, которая больше всего жалела Абад. «Правильно я сделала,— подумала она,— справедливо, что после похоронок на сыновей разрешила снохам поступать, как велит им сердце. Выходить замуж, если полюбят кого еще. И не обращаться внимания на пересуды, в конце концов на мирской рот не накинешь платка, но и жизнь не вечна, придет час, когда и я сомкну глаза. Так пусть потом меня никто не посмеет упрекнуть в жестокости и эгоизме. Видно, такая выпала мне доля — лишиться сыновей прежде, чем уйти самой...»

— Моей келин никто не нужен,— словно бы угадав ее мысли, сказала Халима-хола.— Если уж ей суждено, не дай бог, остаться вдовой, то она донесет эту участь до самой могилы, воспитает сына одна, как я.

— Тут ты, по-моему, не права, Халима,— сказала заведующая.— Абад еще молода, ей семейный очаг нужен. Конечно, пусть ей аллах вернет родного мужа, но если Саша сказал правду...

— Неправду он сказал, опа, я ему и на ноготок не верю!

— Что ж, добрые намерения — половина успеха. Но, если ты убедишься в его правоте, постарайся, чтобы у твоего внука был отец, и пусть им будет Саша, твой родной сын. У узбеков испокон веков было так, сестра, если уж старшего брата призывал Азраил, его детей воспитывал младший. И делалось это для того, чтобы дети не испытали сиротской доли. Подумай, Халима.

— При живом-то сыне думать, опа? Вернется мой ягненок, сельсовет зря утверждать не станет!

— Дай нам бог побывать на его тое,— сказала Зульфия-хола, подумав, что сейчас эту женщину ничем убедить нельзя, она будет твердить свое и ни за что не отступит. Потому что у нее состояние такое, видно, как у

каждой матери. Ведь если честно, то и сама Зульфунья-хола долго не могла поверить в гибель своих сыновей, хотя и получила похоронки на них. Съездила в Кашкадарьинскую область, встретила там с вернувшимся фронтовиком, который видел, как снаряд накрыл обоих братьев в окопе, и все равно где-то глубоко в душе жила надежда. Она умерла лишь со временем, сама собой умерла.

— Мед вам на язык за доброе пожелание,— поблагодарила ее Халима-хола. Она чувствовала себя победительницей, ничего разумного не увидев в рассуждениях Шарафат и даже Зульфуньи-опа.

До вечера женщины работали — убрали коровники, а потом корма натаскали в ясли. А там и пастухи привели коров, надо было приниматься за дойку. Халима-хола работала споро и зло, потому своих коров подоила быстро.

— Ты тоже поспеши, кизым,— сказала она, подойдя к снохе, извиняющимся и ласковым тоном,— Фарходжан, наверно, соскучился!

— Хоп, онаджан,— ответила Абад. Она решила не обижаться на свекровь, подумав, что мать можно понять. Ведь она отчитала ее не по жестокости своей, а от отчаяния. Разве сама Абад верит в гибель мужа? Нет. Она верит матери, потому что та всегда была права. Подумала о сыне: «Как ему сегодня жилось у Миршарифа-тога без Саши-ака? И как он чувствует себя, ведь не кушался же!»

Когда Абад пришла домой, сын уже вертелся возле бабушки и все спрашивал, когда же придет Саша-тога...

VIII

Время пролетало незаметно, и Саша, всякий раз размышляя о себе, благодарил судьбу, что она, приведя его в кузницу, избавила от тоски. По вечерам, после ра-

боты, отпустив молотобойца, он допоздна засиживался в ней, чиня ведра и чайдуши, кастрюли, тазы и прочие железные вещи домашнего обихода, которых, к его радости, у жителей кишлака оказалось немало. Узнав о том, что мингтеракский кузнец — мастер на все руки, стали приносить свою посуду и жители окрестных кишлаков.

Секретарь партийного бюро колхоза Курбанов позаботился о том, чтобы все свободное время у Саша было занято любимым делом, он понимал, что работа сейчас ему может заменить все слова утешения. Он поехал в райком партии, побывал в МТС и раздобыл олова, нашатыря, кислоты, бог знает где достал десять листов оцинкованной жести, которую Попов экономно расходовал на латки. Саша и сам побывал в районном центре, встал на учет в военкомате и сдал необходимые документы в милицию для оформления паспорта.

Жил он в одной из комнат гостиницы, собственно, он там спал, а все остальное время проводил в кузнице. Продукты колхоз выписывал ему в достаточном количестве, а Карим, молотобоец, чтобы избавить своего учителя от хлопот по приготовлению пищи, предложил, чтобы он питался в его доме. Саша с благодарностью принял это предложение и все, что ему выписывали, отдавал Кариму, «в общий котел», как он говорил.

В первые дни Саше было больно и обидно за то, что Халима-хола, не разобравшись ни в чем, жестоко обошлась с ним. Но даже и при этом чувство благодарности за ее доброту, конечно, брало в его душе верх. И оно, это чувство, не позволяло ему самому ожесточиться, он сохранял спокойствие и терпение, встречал приходивших к нему людей доброжелательно.

Понятно, что Саша выполнял свою «сверхурочную» работу не даром, но никогда не назначал сам цену, даже речи об этом не заводил. И это сразу понравилось мингтеракцам, мол, парень довольствуется малым. Запла-

тят — хорошо, благодарят чистосердечным узбекским «катта рахмат» — тоже неплохо! Большинство его кланов, конечно, оплачивали труд и чаще всего — то кувшином молока, то свежей лепешкой, то еще чем из продуктов.

Так что в смысле устройства жизни Саша был доволен, но, говорят, живая душа без хвори не бывает. Попов очень остро переживал разлуку с Фарходом, он часто думал о мальчике, вспоминал свои разговоры с ним, как-то по-новому воспринимал теперь его смысленность, которая была следствием все той же войны.

Как обычно, отпустив Карима, Саша и сегодня взялся за починку посуды и вдруг вспомнил, что, уходя из дома Халимы-хота, «прозился» помогать ей всем, что в его силах. «Идиот, товарищ старшина, — выругал он себя мысленно, — неделя прошла с того дня, а что ты сделал?! Стоило ли клясться на крови, если из-за пустяка в общем-то забыть о своих обязанностях?! Устроился сам хорошо, а о родных людях забыл! Пусть ты не сможешь вскопать ни огород, со временем, когда отношения налажутся, а это обязательно будет, ты и это сделаешь, пусть ты не подметешь и не польешь двора, но хоть траву для коровы ты можешь приносить им? Кто тебе это запретит? К тому же, если ты это сделаешь, когда хозяев нет дока...»

И он, отложив в сторону чье-то ведро, раздул огонь в горне и накалил кусок рессорной стали. Без молотобойца работалось тяжело, но он все же к полуночи смастерил удобную косу, приладил к ней ручку и отправился на отдых, решив наточить ее, как бритву.

Ночь была тихая. Кишлак спал. Проходя мимо дома Якубовых, он на минуту придержал шаг и через дувал заглянул во двор. Женщины спали на супе, а Фарход — на своей кровати. Свет луны прорывался сквозь листву дерева, и казалось, что весь двор усыпан золотыми монетами...

На следующий день Саша принес сноп травы и оставил в хлеву. Хола увидела тот сноп и поспешила к брату, мол, не он ли принес. Она и в мыслях не допускала, чтобы Саша это сделал. А Миршариф-тога сразу сообразил, в чем дело, и взял это на себя, да еще и предупредил, что и впредь, при случае, будет приносить траву и на ее долю. «Если сейчас сказать, что траву принес Саша,— подумал он,— эта сумасшедшая баба помчится к нему в кухню и устроит скандал, а парню и так нелегко...» Он решил сходить к нему и договориться, чтобы тот свою помощь оказывал через него, тога. Пусть бросает через дувал тот же сноп травы ему во двор, а уж он сам передаст, чтобы не вызывать пока подозрений у сестры, не злить ее.

У Миршарифа-тога росли одни девчонки, и Фарход всегда был желанным в его семье. Девочки что постарше всегда возились с ним, а теперь вот начали и купать его в теплой воде с мылом. И когда хола зашла за ним сегодня, он сидел на супе чистенький, причесанный. Только когда она подошла к нему, мальчик, как всегда, спросил:

— Саша-тога пришел, момо?

— Нет еще, ягненочек мой.

— А почему?— Он встал и, обвив ручонками ее шею, заглянул в глаза. Казалось, он хотел в них найти ответ.

— Он ведь работает, внучек,— ответила хола и отвернулась,— некогда ему.

— А когда кончит работу, придет?

— Может, придет,— сказала хола. Ей вдруг стало жаль внука, который скучал по сильным рукам Саши, по его ласке. Непрошенная слеза навернулась на глаза и потекла по щеке. Хола смахнула ее рукавом...

IX

С того дня, как Шарафат поспорила с Халнмой-хола на чорпае, мысль повидать русского парня крепла в ней,

а в последнее время так целиком захватила ее, засела в голове, как гвоздь. Но она понимала, что поскольку Саша из городских парней, то к нему наверняка нельзя подходить с мерками кишлака. Однако сама она никогда не бывала в городе, тем более в русском, и не знала тамошних порядков. И потому в ее голове вместе с мыслью о Саше была и другая, не менее важная — решить, каким должен быть ее первый визит к нему. Повод для этого был — дома нашлось дырявое ведро. Размышляя об этом, Шарафат так и не пришла к чему-либо определенному и, наконец, решив, что мужчины в общем-то везде одинаковы и их прежде всего ошеломляет красота не только лица, но и нарядов, стала тщательно собираться. Надела атласные шаровары и сразу два сатиновых цветастых платья с широкими рукавами, причем рукава нижнего она чуточку выпустила, так, чтобы их было видно. Голову повязала шелковым платком с пышными кистями, вытащила из сундука новые калоши и ичиги, натянула их на ноги, а затем предстала перед матерью, хлопотавшей у очага.

— Можно подумать, на той собралась, — заметила та недовольным тоном. Ей, если честно, не правилась затея дочери. — К твоим нарядам нужно новое ведро, — усмехнулась она, — а не это дырявое, кизым. Не стыдно тебе будет нести такое через весь кишлак, а?

— Я это ведро заверну в твой платок, — ответила Шарафат матери раздраженно, — а на то, что подумают в кишлаке... по-моему, я уже имела честь высказать свою точку зрения и... хватит об этом. Пойду к нему, как на той, пусть все видят!

— А зачем сразу два платья-то, в такую жару? — спросила мать.

— Сколько есть. У других пока ни одного нового нет, а у меня сразу два, пусть видят.

Она взяла испеченную матерью пшеничную лепешку, еще горячую, кус сладкого урюка и, завернув все это

в узелок, прихватила ведро, тоже завернутое в платок, и, пока не успела взойти луна, отправилась к кузнице. Бравата бравадой, а совсем не считаться с мнением земляков тоже нельзя. Говорят же, мир дунет — буря. Шарифат подошла к кузнице и остановилась. Сквозь щели двери пробивался неяркий свет лампы, но привычного звона не слышалось, и она подумала, что зря, видно, пришла, кажется, хозяин уже ушел. И все же постучалась в дверь.

— Войдите, открыто,— крикнул Саша.

— Ассалам алейкум,— приветливо, нараспев произнесла Шарифат и, войдя в помещение, тихонько, но плотно прикрыла за собой дверь.

Саша сидел на низенькой скамеечке и паял чью-то кастрюлю. Увидев нарядную женщину, да еще и красивую, он растерялся, подумал, что, наверно, сама «дочь раиса» пожаловала. Поднялся и почему-то вытер грязные руки о подол фартука, хотя никогда раньше этого не делал.

— Ваалейкум, сестра,— ответил он и предложил гостье табуретку, смахнув с нее тряпочкой пыль.— Пожалуйста.

— Меня зовут Шарифат,— сказала она и села.

— Очень приятно, а меня Саша.

— Я знаю, ака,— голос у нее был немного взволнованный.

— Хорошо. Слушаю вас, Шарифатджан.— Саша не знал, что приставка «джан» означает «родная», и потому, услышав ее, женщина зарделась, ей показалось, что произвела на кузнеца неотразимое впечатление.

— Принесла ведро починить, ака.

— Оставьте, сестра,— предложил Саша,— дня через два зайдете, ведро ваше будет как повос.

«Оставить и уйти,— подумала Шарифат,— значит, не добиться своей цели. А я должна побыть с ним подольше, разговорить его»

— Я бы хотела посмотреть, как вы работаете, Саша-ака. Можно?

— Вы хотите, чтобы я на ваших глазах занялся ведром?— уточнил Саша.

— Да. Ну, можно и не моим. Я просто посмотрю, хоп?

— А злых языков вы не боитесь, Шарафатджан?— спросил Саша, чуть улыбувшись. Он понял, что ведро для этой женщины только повод, видимо, она пришла за чем-то другим. Зачем? Интересно было узнать.

— Собака лает, а караван идет, ака,— с задором ответила она.— Если жить в страхе перед сплетнями, то не надо было и появляться на этом свете!

— Может, вы правы,— произнес Саша и занял свое место.— Ну, что ж, давайте сюда ваше ведро.

Шарафат развернула платок и подала ему ведро, у которого, как и у многих ведер, что приносили ему, текло днище. Саша налил в ведро кружку воды, гвоздиком нацарапал щели, и стал зачищать эти места паждачной бумагой — ширк, ширк, ширк. Свет лампы падал на Попова сверху, и потому его русые, завившиеся от пота волосы чудились Шарафат золотистыми. Густые и ершстые брови его смешно вздрагивали, когда он переводил взгляд с ведра на паяльник или еще на что.

— Саша-ака, может, вы сначала перекусите, а?— спросила Шарафат.— Я вот тут кое-чего принесла вам.

— Спасибо, я уже поужинал.

— Дома?

— Нет, у Каримджана, молотобойца своего.

— Давно, наверно?

— Часа два тому назад.

— Тогда — самое время еще раз подкрепиться, ака. Тут, собственно, ничего особенного и нет.

— Ладно,— согласился Саша, все более удивляясь поведению женщины, необычному, насколько он знал, для кишлака.— Только вы мне составите компанию.

Саша вспомнил, что видел несколько раз Шарафат на ферме и еще тогда отметил про себя, что она резко отличается от своих подруг. И красива, и аккуратна, и вроде... стройнее. Она ему определенно нравилась, но... у него были обязанности перед Абад, для которой он отныне должен был стать мужем и отцом Фархода. «Очень красивая женщина,— подумал он, глядя на нее,— точно яркая лампочка, если долго смотреть, может ослепить». Мгновенья хватило ему, чтобы мысленно сравнить Шарафат и Абад, и еще мгновенья — чтобы прийти к выводу, что при всей своей броскости сидевшая на табуретке проигрывает перед той женщиной, которая в первое утро его приезда поливала двор, и той, что поила его водой, когда болел. Проигрывает в нежности.

— Хоп, ака,— Шарафат расстелила на наковальне платок, в котором принесла ведро и, развязав узелок, поставила на импровизированный дастархан теплую, еще пышную лепешку и касу урюка. Разломала хлеб.— Берите, Саша-ака!

— О-о, урюк.— воскликнул он, глянув на наковальню,— а вы знаете, когда я собрался сюда, врач госпиталя посоветовал побольше употреблять эту штуку, но спутники мои сразу же разочаровали, мол, сезон урюка кончился, придется довольствоваться другим. Оказываются, есть еще?

— Ваши спутники были правы, ака,— сказала Шарафат,— сезон его действительно прошел, но у нас растет одно дерево, плоды которого созревают поздно

— Спасибо, сестра,— сказал Саша и, попробовав несколько плодов, воскликнул:— У-ух, прямо мед!

— Скоро виноград созреет, Саша-ака, яблоки;— не преминула похвастаться Шарафат,— заходите, пожалуйста, ешьте на здоровье. Нас только четверо, мама, я, дочка маленькая и сестренка, так что вполне хватит. Можно б на базар свезти, да не женское это дело.

— А где же ваши мужчины?

— Там, где и все парни кишлака, ака...

— Извините, сестра, приглашением вашим воспользуюсь, зайду как-нибудь.

— Отец рассказывал,— сказала она, польщенная тем, что Саша обещал прийти, а там... можно же оставить и насовсем,— что этот урюк ходжикентский, только где это место, я не знаю. Наверно, далеко?

— Я тоже не знаю,— признался Саша.

— Что ж вы лепешку не берете, ака, она ведь из пшеничной муки?!

— Да? Вы мне прямо царский ужин устроили, Шарафатджан!

— Угощайтесь, Саша-ака.— В ее голосе была нежность, и Попов, незаметно глянув на нее, румяную и красивую, подумал, что в городе она, пожалуй, не знала бы отбоя от поклонников, если ее еще и приодеть соответственно.

Этот взгляд почувствовала и Шарафат, в сердце ее приятно защемило, и она, чуть прикрыв веки, попробовала представить Сашу рядом с собой на улицах Минг-терака. Идут они, вопреки всем правилам, рядом, плечом к плечу, держатся кончиками пальцев за руки, а старухи из-за углов выглядывают и о чем-то между собой говорят, осуждают. От этого ей смешно и не больше. Голова гордо поднята, словно бы она говорит всем — завидуйте, вот мое счастье!

— Скажите, сестра, в чьем саду выросла такая роза?— совсем по-восточному спросил Саша, решив польстить ей.

— Вы как Навои, Саша-ака,— ответила Шарафат и смутилась притворно,— ну вас, ешьте лучше!

Саша расправился с урюком и только было взял в руки отложенное ведро, как дверь распахнулась и раздался звонкий голос, который он мог отличить среди тысячи других:

— Саша-тога, а Саша-тога!

— Фарходджан!—словно бы не веря своим ушам и глазам, воскликнул Попов и, вскочив со скамеечки, бросился к нему. Приподнял мальчика и прижал к груди.— Вот обрадовал, брат, так обрадовал! Ну, спасибо, что пришел, малыш, а то ведь я чуть с тоски по тебе не умер!— Он заметил Миршарифа-тога, стоявшего в тени, и поздоровался с ним:— Ассалам алейкум, тога! Входите.

— Ваалейкум, Сашабек,— ответил тот и вошел в кухню. Увидел Шарафат:— О-о, у вас гостя? Салом, кнзым.

— Ваалейкум,— ответила женщина, собираясь уходить.

— Знаете, как вы меня обрадовали, тога,— сказал Саша,— я вот тут, в кухне, а сердце день и ночь с ним. Уговорите Халиму-хола и Абад, пусть разрешат мне видеться с ним, иначе я умру от тоски!

— Когда человек работает, ему ничего не страшно,— сказал тога.

— Хотите сказать, вычеркнется из сердца?

— Да.

— А зачем? Он ведь мой племянник. Легче ему разрешить прибегать ко мне, а когда все уладится, я и сам...

— Что вы вместе в виду. Сашавой?

— Абад выйдет замуж. Не будет же она всю жизнь вдовой? Вернее, не должна быть! Но и в таком случае Фарход для меня родной человек!

— Саша, вы правду сказали моей сестре!

— Я сам похоронил брата. Не одного его, но и еще нескольких друзей по оружию. Я знаю, где его могила, и обязательно поеду туда, вот только поправлюсь немного. Попробуйте поговорить, тога.

— Ладно, йнгит, попробую.

— Хайр, Саша-ака,— произнесла гостя и использов-

нула за дверь. Саша даже не ответил ей, он был занят мальчиком. Он достал с полки два маленьких жестяных свистка и дал Фарходу. Тот дунул, кузница наполнилась тонким и звонким свистом. В знак благодарности Фарход крепко поцеловал Сашу.

— Ты приходи ко мне почаще, брат,— сказал Саша,— я еще тебе не такие игрушки сделаю.

— Даже велосипед?

— А что, сделаю.

— Вот я тогда покатаюсь, Саша-тога!

— Обязательно.— Саша обратился к Миршарифу-тога, чувствуя, что того привело что-то важное.— Что цовенького у вас, тога?

— Я по делу, Саша. Скажите, траву моей сестре вы приносите?

— Не ей, а ее корове, тога. Да, я. И знаете почему? Хола и Абад как угодно могут относиться ко мне, но, как говорят у узбеков, лев по следу не возвращается, а мужчина от слова не отпирается. С Тулкуном меня соединила кровь, и я считаю своим долгом помогать его семье.

— Хорошо, Саша, я не возражаю,— сказал тога,— сердце благородно благодарностью. Но пока время не заглушило в груди моей сестры рану, не надо тревожить ее, пусть заживет. Оставляйте гог сноп травы в моем дворе, просто перекиньте через дувал, а уж я там им сам отнесу. Пусть думает, что это я приношу.

— Хоп, спасибо за мудрый совет, тога!

— Ну, вот и все дело.— Тога поднялся и взял Фархода на руки.— Пора спать, батыр!

— Я не хочу спать,— запротестовал Фарход,— хочу с Сашей-тога остаться, не пойду домой!— Он начал вырываться из рук деда.

— Фарходджан,— сказал ему Саша,— ты хочешь, чтобы я тебе сделал велосипед, а?

— Ага.

— Тогда иди домой, а я поищу колеса. Как найду, приходи за велосипедом, хоп?

— А вы не будете спать, да?

— Ну. Надо же колеса найти.

— Правильно,— поддержал его тога,— кэкой без колес велосипед?

— Быстро найдете, Саша-тога?

— Да. А ты должен спать, иначе не вырастешь!..

...В тот вечер и сам Саша спал особенно сладко...

Х

Наступила осень, постепенно окрашивая листья в багряный цвет, вода в арыках текла прозрачная, как стекло. Земля вокруг кишлака уже вспахана. Вечерами стало прохладнее и уже спать на супе было опасно. Хола и ее семья ложились в комнате. Много воды утекло с того вечера, когда она указала Саше на дверь, но каждое мгновение из всех прошедших дней и почей, казалось, жила в напряженном предчувствии встречи с Тулкуном. Но он не ехал... И она вдруг начала сомневаться в своей уверенности, ведь дни пролетали, а ничего не менялось. И вот однажды решила хола добраться до правды, которая, по ее мнению, была в сельсовете. Она пришла прямо к Пулатджану, вошла в кабинет и, поздоровавшись, села на скамью у стены.

— Ну, Халима-хола,— обратился к ней председатель, когда из кабинета вышел последний посетитель,— как ваше здоровье, благополучна ли семья?

— Спасибо, Пулатджан,— ответила она,— и здоровье наше, слава аллаху, терпимое, и в семье — мир да согласие, жизнь идет. А как вы сами?

— Тоже, хола, терпимо. Слушаю вас.

— Объясните мне, пожалуйста, Пулатджан, почему сельсовет обманывает меня? Сказал, что сын мой придет, а его все нет и нет. Не пешком ли он идет домой?

— Сельсовет никогда не лгал, — ответил председатель твердо, — в Мишгтерак действительно вернулся Тулкун Якубов, он записан уже во всех лицевых книгах, паспорт получил и тоже на имя вашего сына. Для всех нас он Саша, а по документам — Якубов, узбек, уроженец кишлака нашего. Женат, имеет на иждивении сына пяти лет и жену. Не верите мне, справьтесь в конторе колхоза, там он тоже проходит как Якубов.

— Выходит, правду сказал он? — спросила хола, вздохнув.

— Послушайте, хола. Этот парень абсолютно не виноват, зря вы его обидели тогда. Поставьте себя на его место. Откуда ему знать про наши обычаи, если он никогда раньше в кишлаке не был?! Вон мой тесть и то не помнит такого случая, отсюда и вывод — ясно, что именами обменяться предложил Тулкун, пусть земля ему пухом будет. Теперь, хола, хотите вы или нет, а в колхозе будет жить такой человек — Тулкун Якубов.

— Ну, подумайте, Пулатджан, зачем моему сыну предлагать такое, а?

— Откуда мне знать, хола.

— Пусть сельсовет изменит имя этому человеку!

— Гм. Что написано пером, не вырубишь топором, говорят.

— Да, сынок, говорят.

— Во всех армейских документах, даже в Верховном Совете, где ему выдавали документы за ордена и медали, он записан Якубовым. А для того, чтобы те бумаги изменить... сто лет пройдет! Если бы обошлось простой справкой сельсовета, хола... Мой совет вам: будьте благоразумны, хола, не упорствуйте, пусть у вашего внука будет отец. Между прочим, все в нашем кишлаке думают так же. Я слышал, что Шарафатхон зачастила к кузнецу, то ведро, то ложку, как говорится, принесет ему и сидит, сидит там, а чего сидит?..

Да, хола, слышала об этом от брата Миршарифа,

от женщин кишлака. Отнеслась равнодушно, мол, какое мне дело до этого. А теперь вот проснулся в ней протест против самоуверенной, на ее взгляд, Шарафат. «Начала окручивать моего сына, змея. Нет, пока я жива, не бывать этому! Саша брат моего сына, и я не хочу такую сноху, не хочу!.. О аллах,— произнесла она, опомнившись, что назвала Сашу сыном,— зачем мне душу терзаешь-то? То ненавистью ее наполняешь, то злостью, то жалостью! За что мне такие страдания, разве мало пережитого?!»

Побывала Халима-хола и в конторе, чтобы удостовериться в правоте Пулатджана. Рашид-тога, который был там, встретил ее приветливо и, усадив, произнес:

— По всем документам, этот парень — Якубов. Тут теперь даже аллах ничего изменить не сможет. Подумавай хорошенько, сестра, никто из нас на этом свете не вечен, а внук... Негоже, если его воспитает чужой человек, за которого рано или поздно выйдет замуж Абад...

«Уж лучше бы я никуда не ходила,— сама себе сказала хола, устало опустившись на супу,— в груди пустота — ни веры, ни надежды!» Она сейчас проклинала тот день, когда появилась на этой земле сама, тот час, когда война отняла у нее сына, проклинала свою судьбу за жестокость. Но, как рыба жива водой, так и человек жив заботами. Она обязана жить ради внука, ради самой жизни. А Шарафат... Ястреб с ястребом дерется, добыча же ворону достается. Саша приехал к ней, своей матери, она не приняла его и теперь он станет добычей этой вороны?!» Чтобы проведать сына, пришла домой и Абад. Увидела на супе свекровь и спросила с тревогой:

— Что с вами, онаджан, вы бледны, как бумага?

— Устала, кизым,— ответила хола, решив не распространяться о своих мыслях,— сейчас пройдет.

— Может, чаю?

— Вскипяти и сама заодно пообедаешь.

— Сейчас, онаджан.

Абад пошла на кухню, а хола почему-то вспомнила рассказ Саша о гибели Тулкуна. Ведь, кажется, он сказал, что это было летом? Ну, да, летом...

...В кишлаке начинался саратан, время, когда человеку обжигает ноги, а птице — крылья. Ветер саратана жгучий и сухой, словно он дует на землю прямо с солнца. Потому и люди становятся черными, как головешки. Жилось в кишлаке тяжело.

В тот день хола раздобыла где-то немного крупы из пшеницы, натопила ложечку масла из сливок и решила накормить семью роскошным ужином. Миршариф вернулся пораньше и, поскольку своих дома не было, пришел к ним.

— Здоровы ли вы, ака?—спросила хола, убавив огонь под котлом.

— Ничего, а как ты сама?

— Душа болит, ака. Сердце будто бы вылететь из груди хочет. Волнуется оно, места себе не нахожу!

— К «афганцу», видно?— высказал предположение тога.

— Нет. Перед тем ветром у меня колотит в груди.

...Абад принесла дастархан и расстелила перед свекровью. Подала ей пиалу чая.

— Привела бы уж и сына,— сказала хола.

— Нет его, онаджан, убежал к Саше-ака.

Хола кивнула. Мальчик тянется к нему, как к отцу родному. Она воспротивилась было, но брат, да и сноха вот уговорили, мол, ничего страшного в том, если мальчик будет ходить в кузницу, не случится.

— Человек чувствует беду,— произнесла хола, отхлебнув глоток чая и ни к кому не обращаясь. Она высказывала мысли вслух:— Он чувствует ее за многие годы, потому что та подает весть. Теперь я знаю, что и сын мой чуял свою беду, знал, что никогда не вер-

нется в свой кишлак, к своей семье. Смерть известила его задолго, а аллах дал разума, чтобы он подумал и позаботился о семье и сыне. Поэтому он и побратался именно с этим русским парнем, увидев в нем, может, схожие со своими, черты характера. Поставил перед ним твердое условие, мол, после войны вернешься ко мне в кишлак и станешь хозяином моего дома, отцом моего сына. А чтобы не переписывать все бумаги, сразу возьмешь мое имя и имя моего отца. Я вырос без отца, ты — тоже сиротой был. Между нами стоит судьба Фарходджана, пусть, брат, он не испытает доли сироты. Так думал мой сын, мой ягненочек, мудрый, как старец!..

— О чем вы, онаджан?— испуганно спросила Абад. Ей показалось, что свекровь ходит с ума.— Может, я позову доктора?

— Я устала, келин, а говорю... Сама не знаю, что происходит со мной, душа разрывается на части. О аллах,— хола упала на курпачу и горько расплакалась.

— Онаджан, онаджан, что же мне делать,— бросилась к ней Абад с пиналой остывшего чая,— выпейте вот, что с вами, онаджан?

— Ничего, кизым,— сказала хола, выпив чай,— здорова я, в своем уме, просто душа, сердце мое обливается кровью... Ладно, иди на работу и не волнуйся. Время коров донть:

— Сейчас, онаджан,— сказала Абад и в тени дома поставила кровать сына, постелила постель.— Идемте туда, полежите немного. Я быстренько управлюсь и вернусь. И ваших коров подою, онаджан, только вы не бойтесь на радость нам с Фарходом, хоп?

Сноха так суетилась, устраивая ее получше на кровати, так переживала, даже побледнела, что хола подумала о словах Рашида-тога. Действительно, она, хола, не вечна и, наверное, не имеет права обречь такое

юное, любящее существо на одиночество. «Нет, Шарафат,— сказала она мысленно,— не видать тебе моего сына!..»

XI

Кузница в кишлаке такое же оживленное место, как и контора колхоза. Больше того, если в конторе народ собирается только утром и вечером, здесь же людской поток нескончаем целый день. С тех пор, как кузница открылась, Саша, пожалуй, не помнит случая, когда бы он и Карим оставались одни, обязательно присутствует еще кто-то, а то и несколько человек сразу. Чаще всего здесь бывают рядовые колхозники, люди простые. Общение с ними позволило Саше быстрее и ближе познакомиться с правами кишлака, отношениями людей между собой, которые поначалу казались ему такими же непосредственными, как и среди детей. Позже он понял, что за внешней этой непосредственностью кроются чистота помыслов, честность и добропорядочность. Редко случалось, чтобы кто-то пытался схитрить или выгадать. Еще он понял главное — кишлаку несвойственны половинчатые решения, неопределенность, он не приемлет так называемой золотой середины, его принцип — «да» или «нет».

Поэтому к настойчивым предложениям Шарафат «отведать самого сладкого в Мингтераке винограда» Саша стал относиться осторожно, хотя вначале ничего не имел против. Как бы то ни было, размышляя Саша, он — Тулкун Якубов, и у него — официально, по документам — есть жена и сын, и прими он приглашение красавицы, жители кишлака воспримут это как наличие у него серьезных намерений, и потом, попробуй, докажи, что ты не верблюд. Не зря на пашне курдюк лежит, думает волк. Не зря кузнец пошел в дом Шарафат, подумают люди, и эта мысль, конечно, оставит неприятный осадок, тогда как сейчас они в нем души не чают.

А как же?! Человека, попросту говоря, выгнали из дома, а он, верный своему слову и долгу, не оставляет тот дом без внимания, траву косит, мальчонку одаривает гостинцами, как ни поедет на базар, так привезет ему что-то из одежды или обуви. Все знают, что он сделал бы еще больше, если бы не гнев Халимы-хола. Пойдет Саша к той женщине, бросит вызов всему кишлаку. Так нельзя, верность одному, верность тысяче.

Правда, Халима-хола в пылу гнева раструбила по кишлаку, что она не признает Сашу сыном и вообще — родным человеком, но ведь гнев плохой советчик разуму. Это знали все мингтеракцы и потому ее слова всерьез не приняли, были убеждены в обратном — хола со временем поймет свою ошибку. А этот русский парень ведет себя примерно, как настоящий брат узбека. И такое мнение земляков не имел права Саша омрачить недостойным шагом.

Председатель колхоза Аман-тога в кузницу захаживал редко, в неделю раз, а то и еще реже. Да и что там ему было делать, если она работала хорошо, все что необходимо хозяйству, выполнялось в первую очередь и на совесть, как говорится. Поэтому если и посещал ранс кузницу, то затем, чтобы справиться у Саши о делах, мол, не нужно ли чего. Вчера Аман-тога тоже зашел к нему, видать, уже шел из конторы. Саша в это время прилаживал последнее колесо к самодельному велосипеду, а Фарход сидел на скамеечке, затаив дыханье, ждал минуты, которая, наконец, даст ему заветное. Аман-тога поздоровался, спросил о здоровье, делах. Саша ответил ему традиционно и предложил табуретку.

— Что это вы мастерите, Сашабек?— спросил ранс, сев.

— Велосипед племяннику, ранс-бобо. Да вот тяжелый он получился, черт возьми, надо бы из трубок, а где их взять?

— Гм. Сделаете одному, все ребятишки кишлака повалят к вам!

— Не повалят. Люди-то поймут, что сделал я эту штуку для своего племяша, а он у меня — один пока.

— Племяш?

— Ну.

— Сын!

— По бумагам, раис-бобо.

— Не только по бумагам, Саша. Мингтерак считает этого батыра вашим сыном.

— Спасибо кишлаку, что он так считает, но этого все-таки мало, тога.

— Да-а. Но ничего, терпение открывает запертые двери. По-моему, в сердце Халимы лед тронулся, просыпается настоящее материнское чувство.

— Оно, чувство, в сердце матери всегда было,— сказал Саша.— Виноват во всем, наверно, я, если разобратся по существу. Прежде чем брать фамилию и имя брата, мне надо было честно обо всем написать ей и, получив согласие...

— Почему же не сделали?— перебил его раис.

— Не знал.

— Вот именно. Значит, вашей вины нет. Сашабск.

— Почему вы решили, что в сердце моей матери лед тронулся, тога?— спросил Саша.

— Вообще-то об этом не стоило пока рассказывать,— ответил тот,— но, думаю, если вы узнаете, это поможет вам в дальнейшем.

— Тогда...— Саша поставил колесо на место, посадил мальчика на велосипед и показал ему, как нужно управлять им. Тот попробовал, но с трудом сдвинул его с места. Однако с велосипеда не слез.— Если не возражаете, я отведу малыша домой? Я мнгом. раис-бобо.

— Хоп.

Саша отвел Фархода к Миршарифу-тога и, вернувшись, устроился на своей скамеечке.

— Слушаю вас, раис-бобо.

— Мы мужчины и можем себе позволить откровенность, Саша, не так ли?

— Конечно.

— Тогда скажите, как далеко зашли ваши отношения с Шарафат?

— Никуда они не зашли, тога, пока моя семья не отвернется от меня на миру, как говорится, я буду жить так же, как и до сих пор. Но вы все спрашиваете меня, хотя обещали сами что-то рассказать.

— Да. Только что я встретился с Халимой. Гнева в ней, скажу, не меньше, чем в прошлый раз, когда она... думаю, помните?

— Опять на меня?

— Нет, на этот раз на Шарафат. Не знаю, о чем уж они говорили на ферме, только Халима сказала мне буквально следующее: «Уймите эту бабу, раис-бобо, нет такого обычая, чтобы она при живой матери заманила в свои сети ее сына! Саша — мой сын, и я не желаю, чтобы он женился на вдове, когда полный кишлак нецелованных девушек. Да и перед Абад у него есть обязанности. Чтобы он пошел к Шарафат, нет моего благословения, раис-бобо!» Вот такие дела, Сашабек. Все же свой двор лучше чужого двorca, не забывайте.

— Спасибо, раис-бобо. А о том, что вы говорите, помню я. И ничего неразумного себе не позволю, пока... Абад не выйдет замуж.

— Она уже замужем, вы ее муж, — сказал раис.

Саша грустно покачал головой:

— Никто я ей, тога... Странно у вас тут рассуждают, раис-бобо, никак не могу взять в толк.

— Чего уж тут непонятного?! — удивился председатель.

— По-моему, все. Женят меня так, будто... Не по-

нимаю... Как я могу считать Абад своей женой, если нет любви? Не о себе речь, если откровенно, раис-бобо, о ней... Вот ее я понимаю. Первая любовь у нее — Тулкун, тот, а не этот, сидящий перед вами. Будь я на ее месте...

— Вы что, говорили с ней уже?

— А что это даст?

— Поговорите все же, Саша.

— Мне стыдно, тога. Пусть останется как есть. Помогать семье — мой сыновний долг, и я от него никогда не отрекусь. Сделать все, чтобы малыш ни в чем не нуждался, и главное, в мужской ласке, — тоже моя обязанность. А остальное, тога, вверим судьбе.

— Но вы же законный муж Абад! — воскликнул раис.

— Может, и законный, но надо, чтоб и по совести, и по любви. И... хватит об этом, Аман-тога. У меня ведь в груди тоже сердце!

— Что ж, поступайте, как оно вам подсказывает, йигит. А теперь... идемте ко мне в гости, посидим, поговорим о делах, чайком побалуемся, может, моя кампыр угостит еще чем...

От раиса Попов ушел поздно. Он был рад, что принял приглашение, потому что многое узнал от него о своих земляках. Аман-тога рассказывал о них обстоятельно, где серьезно, а где и с юмором, но во всех случаях — тепло. Он сдержал слово и ни разу не упомянул о Халиме-хола и ее семье. Лишь когда Саша уходил, шепнул у калитки:

— С Абад все же надо поговорить...

XII

— Ассалам алейкум, Саша-ака, — чуть слышно, не переступая порога, поздоровалась Абад.

Иногда, когда Миршариф-тога задерживался и ни-

кого из его дочерей не было дома, а Саша, увлекшись делом, забывал вовремя отвести Фархода, Абад забирала сына сама. Приходила она в кузницу неохотно, потому что не все рты пока мечут жемчужины, а слово, оно хоть и выходит из тридцати зубов, да тридцать родов обходит. Однако и иного выхода тоже не было, не ей, так свекрови идти.

— Ваалейкум, сестра,— приветливо ответил Саша. Вместе с Фарходом он сидел на скамеечке и распраз- лялся с янтарной кистью винограда.

Совет председателя Саша, подумав, нашел разум- ным. В самом деле, говорят, что без худа добра не бы- вает, а без добра — худа. Хуже, чем есть, быть не мог- ло, а разговор с Абад, естественно, не оставил бы места неопределенности в его отношениях с семьей. Рано или поздно ему предстояло такое объяснение, так пусть уж лучше раньше! Придя к этому выводу, Саша решил, что в первый же вечер, когда она появится в кузнице, по- говорит с ней, тем более повод, как он считал, пред- ставлялся веским — надо же узнать, что там произошло на ферме.

— Войдите, Абадджан,— предложил он ей и указал на табуретку,— сядьте, пожалуйста, вот сюда. Нам нуж- но поговорить, сестра.

— О чем, Саша-ака? — спросила она, однако с места не сдвинулась.

— Да вы сядьте сначала, Абад,— произнес Саша.— Разговор серьезный, и мне не хотелось бы громко... Прошу вас.

— Не бойтесь, онаджан,— подал голос и Фарход,— Саша-тога хороший, всех, кто сюда приходит, он са- жает туда. И никто еще не упал.

— Хоп, сынок,— согласилась Абад и рассмеялась. Она вошла в дверь и села на табуретку, спрятав, как обычно, половину лица платком. Только глаза и были открыты, но и те смотрели вниз.

Саша встал, посадил Фархода на свою скамейку и закрыл дверь кузницы.

— Чтобы кто ненароком не увидел,— сказал он тихо. С тех пор, как он тогда, больным, ощутил тепло и нежность ее руки, Саша не мог забыть тех минут. Они напоминали о себе, заставляли грустить и тосковать.

Абад молча ждала. Она подумала, что Саша вот так же, видно, закрывает дверь, когда приходит Шарафат, и, наверно, произносит те же слова. Но сама же не поверила этому, просто не поверила, и все.

Было уже темно, тусклый свет семилитровой лампы выхватывал из тьмы кузницы только небольшую площадку, где размещались горн и наковальня.

— Что у вас случилось на ферме?— спросил он.

— Ничего, Саша-ака.

— Какая-то женщина обижает мою мать, а я не знаю об этом, сестра! Почему мне никто не сказал?

Абад промолчала. Она вспомнила тот день. На обед, как всегда, женщины расположились на чорпае, и Халима-хола, как бы между прочим, завела этот разговор. Спросила у Шарафат:

— Ну что, джаным, кажется, дело к свадьбе идет?

— К какой свадьбе?— будто не понимая, о чем речь, удивилась та.

— Да ты что,— усмехнулась хола,— весь кишлак говорит об этом, а она ничего не слышала!

— О чем, Халима-хола?— Казалось, Шарафат издевалась над ней.

— О том, что ты моему сыну, дочь ослицы, покоя не даешь,— не выдержала Халима-хола,— прилипла, как ниявка и...

— Вы о кузнице, что ли?— невозмутимо поинтересовалась женщина, пропустив мимо ушей оскорбительное «дочь ослицы».

— Да,— подтвердила Халима-хола.

— Это не ваше дело,— произнесла Шарафат с вы-

зовом,— это во-первых! Мое личное. А во-вторых... помнится, Халима-хола, вы вот с того же места совсем недавно проклинали этого парня самыми обидными словами, отмахивались от него руками и ногами, а теперь... мой сын! Какой он вам сын-то? Он — кяфир, а вы правоверная мусульманка.

— Саша — побратим ее сына,— заметила Зульфия-хола,— значит, и ее сын, по обычаю нашему, неужели ты забыла об этом?

— Сыновей не выгоняют из дома, как собак,— огрызнулась Шарафат.

— Выгоняют, если заслужили,— сказала Халима-хола,— но даже и при этом они остаются сыновьями. Поймешь, когда дочь вырастет!

— А ну вас,— сказала Шарафат зло,— разве старух переспоришь?! Будет или нет у нас свадьба, никого не касается! Может, мы обойдемся без нее, просто перейдет он в мой дом жить и все! Тяжесть от еды, тяжести от родни, говорят. Будет он подальше от вас, поспокойнее почувствует себя, уж я об этом сама позабочусь!

— Когда речь идет о сыне,— сказала Зульфия-хола,— не надо забывать о приличиях, джаным. Даже если ты и сумеешь вскружить голову Саше, без родительского благословения счастья тебе не будет!

— Халима-хола сама отказалась от него,— воскликнула Шарафат,— мало того, она предложила этой «дочери ослицы» поступать с ним, как ей будет угодно. Вот я и поступаю...

— Стучись даже в открытую дверь, говорят. Когда человек разгневан, может что попало нагородить языком, но гнев проходит...

— Может быть, но мне все же непонятно, к чему весь этот разговор? Саша-ака и я... мы оба одиноки. И если мы сумеем положить свои головы на одну подушку, что в том преступного?

— У Саши,— сказала Халима-хола,— есть сын и жена, об этом даже сельсовет знает. А два арбуза под мышкой нельзя удержать. И разговор наш к тому, чтобы ты не брала грех на душу.

— Действительно,— добавила Зульфия-хола,— одним ножам два ножа не нужны. Даже прах соперницы соперничает, говорят. Зачем это тебе?

— Если он женат, да еще и сын есть, почему не привезет их в кишлак?

— Всеу свое время,— ответила Зульфия-хола,— а тебе мой совет: оставь в покое парня. Паряжаешься, словно на той, а идешь туда, где копотн много, ведь запачкаться не мудрено.

— А в ваших глазах я уже давно...— Шарафат хотела сказать «смешана с грязью», но промолчала. Затем добавила:— Так что все равно теперь. Если бы сердце Саши-ака... я бы, конечно, не посчиталась с вашим мнением и обычаями, а так... я и сама больше не хочу ходить к нему!

— Слава аллаху,— вздохнув, произнесла Халима-хола,— что дал разума моему сыну!..

...Саша помолчал немного и повторил свой вопрос:

— Ну, так что там случилось, Абад?

— Мы пойдем, Саша-ака,— сказала она, поднявшись,— поздно, мама, наверно, уже вернулась, а я даже чай не вскипятила.

— Хоп, не хотите — неволить не буду. А теперь внимательно выслушайте меня. Еще пять минут, сестра.— Она села, и Саша продолжил:— Жизнь — такая штука, что не считается с нашими желаниями, часто поступает вопреки им. Я очень хотел, как уже однажды говорил и повторяю сейчас, чтобы смерть унесла меня, потому что по всем статьям у него было больше прав жить,

чем у меня. Я сирота, если бы и погиб, ничего страшного, был человек, и нет его. А у него — мать, вы, вот этот батыр, ради вас он обязан был жить. Но судьба отпустила ему короткий век, сестра, она соединила меня с ним кровью и все обязанности возложила на мои плечи. По бумагам я — Тулкун Якубов, вы — моя жена, а Фарход — мой сын, естественно. Я понимаю, что с этим трудно смириться сейчас, может статься, что и всю жизнь вы не решитесь назвать меня своим мужем. Мы — люди, и как люди имеем право на свои слабости. Я не обижусь, если вы отвергнете меня. Только имейте в виду, что до тех пор, пока вы не выйдете замуж, я не женюсь!

— Я никогда не выйду замуж, Саша-ака.

— Что ж, видно, и мне судьба не дала семейного счастья, Абад. Будем растить Фархода вдвоем, как брат и сестра. Только ради бога, не вините меня ни в чем. В том, что все это вышло так нелепо... если бы я знал?!

— Я не виню вас, Саша-ака. И мама не винит!

— И вам, и матери — спасибо! Я ее сын и ваш брат, и пусть меня покарает бог, если я хоть в малом не останусь им!

— Спасибо и вам, ака,— сказала Абад и позвала сына,— пошли, Фарходджан, бабушка заждалась уже тебя.

— И Саша-тога пойдет, да, онаджан?— спросил ее сын.

— У меня еще дел много,— ответил за нее Саша, видя, что она вроде бы растерялась от этого прямолинейного вопроса.— Я приду потом.

— Дело, дело,— с досадой произнес Фарход,— вы всегда так, тога. Надо же и домой идти, нам же боязно одним!

— С тобой, сыночек, нам совсем не страшно,— сказала Абад, подняв его на руки.— Хайр, Саша-ака!

— Добрай ноци, сестра. Будь здоров, батыр. Приходи завтра, а то я начну скучать.

Они вышли из кузницы, и вскоре звук их шагов поглотила тишь ноци.

Саша вышел следом за ними. Ночь была ясная и холодная, в густо-синем небе мерцали огромные звезды. Пахло прелью заквашенного в глине самана — кишлак готовился заливать крыши к зиме. «Надо привезти саману и замесить глины,— подумал Саша,— кто, если не я, залет крышу дома матери?» Он шел по тихим улочкам кишлака, а на душе было легко, точно снял он с нее тяжелый камень. И настроение было приподнятым...

— Где вы так долго пропадали?— спросила Халима-хола, когда Абад с сыном вернулись домой.

— За Фарходом ходила, онаджан.

— Я говорю «долго»,— проворчала хола.

— Вы же внука своего знаете, онаджан, не хочет уходить от дяди, и все.— Она решила умолчать о своем разговоре с Сашей, чтобы не волновать попусту. В первый раз в своей жизни она не сказала матери правды и потому чувствовала себя как-то неуютно, будто застали ее на месте страшного преступления.

— А как Саша-тога закончит свое дело,— объявил Фарход,— так и придет к нам, момо. Он будет спать только со мной!

— Хоп, ягненочек мой, хоп,— ответила хола...

XIII

На этот раз Фархода привел домой Миршариф-тога. Вместе с ним он принес тугой узелок, который отдал сестре:

— Это — вам!

— Что тут?— спросила хола.

— Развяжи, увидишь, Саша с раисом вчера ездил

в Термез, ну, и кое-что, говорит, по мелочи купил вам на зиму. Садитесь, милые, посмотрим вместе.— Он подождал, пока хола и Абад сядут за сандал, и развязал узелок.— Та-а-ак. Это бумазея, скорее всего тебе на платье, Халима. А этот сатиновый отрез, конечно же, для келин. Та-а-ак...— Он неторопливо выкладывал вещи.— Брюки, пиджачок и ботиночки для Фархода. Две пары новых калош — вам обеим. А это что?— Он развернул женское пальто.— Для Фарходджана пока оно великовато, а вот для Абад — в самый раз, значит, это ее. Ну-ка, келин, примерь-ка!

— Потом, тога,— сказала Абад и покраснела. Ей очень хотелось примерить это темно-синее драповое пальто с меховым воротничком и накладными карманами, точно такими, как у учительниц в школе, но что-то удерживало. Позже, когда она еще раз вернулась к этой мысли, решила, что постыдилась свекрови.

— Примерь, келин, не ворованное же!— громко сказала Халима-хола, разглядывая калоши.— Совсем новые, ака, не ношенные даже! Где он их достал?

— Деньги есть — шурпа в пустыне,— ответил тога и, взглянув на Абад, стоявшую посреди комнаты в новом пальто, воскликнул:— О-о, какая ты! Застегни-ка пуговицы.— Когда она застегнула их, причмокнул:— Как раз по тебе сшито, келин!

— Какая ты красивая, онаджан,— сказал Фарход, уже натянувший на себя костюмчик и ботиночки.— Самая красивая в нашем кишлаке!

— Правда, хорошо, келин,— сдержанно, но явно с радостью сказала хола.

— Главное — тепло,— заметил тога, продолжив свое дело.— Вот вам три пары шерстяных носков. Маленькие для Фархода, а эти — тебе, сестра, да Абадхон. И еще вот отрез сатина, видно, на шаровары.

— Сколько же все это стоит, ака?— спросила хола, складывая вещи на скамейку.

— Не я же покупал, но, наверно, недешево.

— Сумасшедший, тысяч пять, поди, заплатил?!

— А чего ему с деньгами делать-то?— сказал тогда.— Хорошо, на его счастье, вы есть, а то бы мучался, не зная, куда их истратить!

— Себе-то он что-нибудь купил?

— Не спросил, Халима.

— Эх, тогда, вы всегда так,— с искренним сожалением произнесла Абад,— разговаривали с Сашей-ака и даже не поинтересовались! Зима ведь и для него зима!

— Если б я знал, что в этом узелке? Дал он мне его, когда я уже уходил, сказал только: «Семье на зиму».

— Так и сказал «семье», ака?

— Он вас и считает своей семьей, а как же иначе?

— В нем доброты столько же, сколько в моем родном сыне, ака. Может, и вправду Тулкунджан переселился в него, а?

— Это надо там спросить, Халима,— ответил тогда, кивнув головой вверх,— аллах тебе его дал, он существо предусмотрительное, так что все и... Я сам вот, глядя на Сашу, удивляюсь: что он, что твой Тулкун — одно и то же!

Абад тем временем прикидывала в уме, во сколько обошлись Саше эти покупки, и, когда подсчитала примерно, ужаснулась: «О аллах, он ведь все свои деньги потратил!?» Спросила у свекрови:

— Онаджан, помнится, Саша-ака давал вам деньги? Вы их вернули ему?

— Когда, кизым? Я же за три тысячи купила белую овцу, взамен той, а остальные лежат вон. А что?

— Думаю, если Саша-ака ничего себе не купил, может, когда тогда поедут на базар, возьмут ему что из одежды, а?

— Лучше я передам ему деньги,— предложил то-

га,— пусть сам покупает, что необходимо, а так... купишь, а они велики или малы!

— Все равно, но отблагодарить его надо, онаджан,— сказала Абад.

Она все еще стояла посреди комнаты, теперь уже надев носки и новые калоши, и бросала едва заметные взгляды в зеркало, что висело на стене. То подходила к нему незаметно, то отдалялась, чтобы увидеть, как смотрятся калоши. «И я хочу оставить ее навек вдовой?!— подумала хола, исподтишка наблюдая за снохой.— О аллах, прости меня!»

— Саша и так обойдется,— вдруг небрежно сказала хола,— он мужчнина, его и работа согреет!

— Ой, онаджан, разве так можно?— воскликнула Абад с досадой, которая граничила с болью в душе.— Он же ваш сын!

— Потому и говорю так, что сын. Он обязан!

— А мы?

— У нас, видишь же, возможностей нет никаких пока, келли.

— Тогда я это пальто верну Саше-ака, носить стыдно!

— Перед кем?— спросил тога.— Перед кем стыдно? Перед кишлаком?

— Перед собой, тога...

Дважды ухнуло во дворе, показалось, что кто-то бросил на землю большие мешки с песком. Хола вздрогнула:

— Что там, ака?

— Сейчас посмотрю.— Он встал и вышел из комнаты.

— Ладно, дети мои,— сказала хола,— снимайте свои обновы и пора ужинать. А носки-то, как печка!

— Я не буду раздеваться,— сказал Фарход и забрался за сандал.

— Ботиночки хоть сними, сынок,— сказала Абад и,

и подбежав к нему, разула, хотя он и хныкал.— Там же угли горячие, подошвочки сгорят!

— Завтра же пошью платья, келли,— сказала хола,— и на зависть всему кишлаку будем ходить в них! Пусть все знают, какой у меня заботливый и благородный сын!

Со двора послышались глухие мужские голоса.

— Кто-то пришел к нам, келли.

Абад приоткрыла дверь, прислушалась к разговору и ответила:

— Кажется, это ваш сын Саша-ака и его молотобоец Карим?

— Так надо позвать их сюда!

— Я позову,— вскочил Фарход и, нацепив на ноги бабушкины кауши, побежал во двор.— Ур-ра-а, Саша-тога пришел!— Вернулся и сказал бабушке:— Сейчас придет, момо, только глину с дядей Каримом замесит и придет!

— Да ведь холодно там,— сказала хола и поднялась сама. Вышла к мужчинам.

— Ассалам алейкум, онаджан,— поздоровался с ней Саша.— Извините, что потревожил вас, но вот... надо бы крышу залить, подумал я, и решил глины замесить. Днем мне некогда, ну и...

— Холодно же, Сашаджан.

— Ничего, бывало хуже. Я крепкий... Когда люди придут на хашар, чтобы все готово было.

— А когда они придут, сынок?

— Послезавтра. Вы отдыхайте, пожалуйста, мы тут с Каримджаном все сами сделаем.

— Миршариф поможет,— сказала хола.

— Мне, Халима, на собрание в контору пора.

— Идите, тога, управимся мы,— сказал Саша и, набрав воды из колодца, выплеснул на тот участок, что сам и вскапывал.

— Правильно,— одобрил тога,— залыют водой и за-

сыпят саманом, а завтра вечером хорошенько если перемешают и опять залиют...

— Мы так и собираемся сделать, тога,— сказал Саша. Повернулся к Халиме-хола:— Шли бы, онаджан, домой, да и батыра вот забрали. Холодно.

— Я не замерзну, тога,— подбежал к нему мальчик,— я же одет!

— Хоп, соберу пока дастархан, а ты, внучек, не отпуская дядю,— сказала хола и направилась в комнату.

— Не отпущу, момо...

Сразу после работы Карим ушел домой, мол, поздно уже, а Фарход, завернутый бабушкой в старый ватный халат, дождался-таки своего часа. Только Саша помылся, он подбежал к нему и, взяв за руки, повел в комнату. «Уйдешь,— подумал Саша,— начнет плакать». И подчинился, вошел в комнату, поздоровался с Абад и, разувшись, сел за сандал, у стены.

— Не обижайтесь, онаджан,— сказал он тихо, не поднимая глаз,— я исполняю долг брата.

— Спасибо, Сашаджан, что ты не держишь зла на меня, не забываешь мать и семью. За все спасибо, сынок. Мы так рады твоим покупкам, что и не знаем, какими словами тебя благодарить!

— Я обязан, онаджан.

— Хоп, пей чай, пока не остыл. Поди замерз?

— Не очень.

— Я сегодня буду спать с Сашей-тога,— объявил Фарход. Он сидел рядом с ним, серьезный и, кажется, повзрослевший.

— Что ты, сынок,— сказала Абад,— у Саша-ака есть свой дом!

— Дом Саша здесь,— сказала хола тоном, не терпящим возражения,— сегодня и до конца жизни! И никуда он больше не пойдет!

Абад промолчала. Молчал и Саша. Но, поужинав, он все же стал вылазить из-за сандала.

— Пора мне, анаджан. Завтра дел много.

— А с кем я спать буду, Саша-тога?— спросил клевавший уже носом Фарход.— Не отпущу, и все!

— Сядь, Сашаджан,— сказал хола,— и послушай меня, старую. Я женщина набожная и, может, что не так скажу, так уж не осуди, матерям прощают их глупости. Так вот, сынок, аллах, отобрав у меня одного сына, дал тебя. Я ему благодарна за это, потому что он позаботился, чтобы в конце моего пути было кому отнести меня на кладбище и похоронить по обычаям Мингтерака. А сегодня.... мне нужен сын, внуку — отец, а дому — твои мужские руки. Вот мое слово, Сашаджан!

— Спасибо, мать,— сказал Саша и посмотрел на Абад,— и все же...

Она не отвечала долго. Так долго, что стало и неловко. Уже и мальчонка заснул на руках у Саши, а она все молчала, низко опустив голову. Саша поднялся, уложил Фархода в постель и начал собираться.

— Фарходжану нужен отец, Саша-ака,— чуть слышно произнесла она. И беззвучно заплакала.

...Волны широкой полноводной реки катятся плавно, порой кажется, что они вообще остановились. Недалеко от бетонного моста, на краю березовой рощи, стоит бело-мраморный обелиск с пятиконечной звездой. На плите золотом высечены имена семи десантников и среди них — гвардии сержанта Александра Попова. У этого моста часто останавливаются экскурсионные автобусы, и гиды в подробностях рассказывают о подвиге советских солдат, захороненных под памятником. И не преминут добавить:

— В Узбекистане, в самой его южной области, живет и работает председателем Мингтерацкого сельского совета Тулкун-ота Якубов, отец десяти детей, бывший храбрый воин-десантник. Он был участником того памят-

ного боя и то, что вы сейчас слышали, записано с его слов.— Подчеркнут еще и такую деталь:— Вот уже тридцать лет в год один раз Тулкун-ота приезжает сюда, чтобы помолчать и возложить букет полевых цветов на могилу боевых товарищей, один из которых, гвардии сержант Попов, был его родным братом. Раньше он навещал это место вместе с сыном Фарходом. Ну, а потом, когда мальчик подрос, стал курсантом военного училища, то стал приезжать сюда самостоятельно. Он и в нынешнем году уже был тут, командир подразделения десантников, подполковник Фарход Якубов...